

ФЕДОР ЗАРИН-НЕСВИЦКИЙ БОРЬБА У ПРЕСТОЛА

Федор Зарин-Несвицкий
Борьба у престола

«Public Domain»

1913

Зарин-Несвицкий Ф. Е.

Борьба у престола / Ф. Е. Зарин-Несвицкий — «Public Domain», 1913

Роман русского писателя Ф.Е. Зарина-Несвицкого, посвященный истории России первой трети XVIII века. В центре этого произведения образ цесаревны Елизаветы, дочери Петра I, будущей российской императрицы. О том, как "восходила звезда" Елизаветы, как и в каких условиях формировался ее характер, о постоянной борьбе за власть и за жизнь, не только свою, но и близких людей, узнает читатель этого уникального исторического повествования

© Зарин-Несвицкий Ф. Е., 1913

© Public Domain, 1913

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	10
IV	13
V	16
VI	20
VII	22
VIII	26
IX	28
X	31
XI	34
XII	36
XIII	40
XIV	46
XV	51
XVI	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Зарин-Несвицкий Федор Ефимович

Борьба у престола

*Пир был готов, но гости
оказались недостойны его.
Слова кн. Дм. Мих. Голицына. Записки Маништейна.*

Часть первая

I

– Граф, дорогой граф, наконец-то! – произнесла молодая женщина, протягивая обе руки навстречу входившему в маленькую гостиную, сверкавшему брильянтами и золотым шитьем камергерского камзола молодому, стройному красавцу.

Она сидела на низком кресле, обитом темно – малиновым бархатом. Ее маленькие ножки в ажурных, плетенных из золота туфлях покоились на бархатной подушке. Легкие, как пена, кружева на вырезе открытого платья едва прикрывали ее высокую белоснежную грудь. Черные глаза ее, томные и ленивые, мерцали манящим блеском под высокой прической взбитых локонами темных волос.

В золоченых люстрах с хрустальными подвесками горели восковые свечи под красными шелковыми колпаками. И этот красный свет, наполнявший комнату, придавал странно – нежный оттенок лицам.

Эта молодая женщина была первой красавицей при дворе, Наталья Федоровна Лопухина, жена генерал – майора Степана Васильевича, двоюродного брата и камергера двора царицы Евдокии, бабки царствующего императора, урожденной Лопухиной, первой жены Петра Великого.

Тот, кого она так радостно приветствовала, был граф Рейнгольд Левенвольде, генерал – майор и камергер. Он состоял при русском дворе резидентом бывшего курляндского герцога Фердинанда, лишеного в 1727 году сеймом герцогской короны. Своим графством, камергерством и чином он был обязан недолгому фавору при покойной императрице Екатерине Алексеевне. Граф Рейнгольд хорошо устроился в России.

Слегка склонившись, непринужденной походкой придворного, скользя по роскошному персидскому ковру, покрывавшему пол гостиной, граф Левенвольде приблизился к Лопухиной и одну за другой поцеловал ее руки. Потом он опустился на низенький табурет у кресла Натальи Федоровны.

– Где вы пропадали, – спросила Лопухина, – и что нового?

– Я? – ответил Левенвольде. – Я отдыхал. Я устал от этих непрерывных празднеств. Сказать по правде, болезнь императора прилась кстати. Надо же сделать передышку. Вчера я был в остерии. Там был и Иван Долгорукий. По – видимому, они расстроены, что свадьба императора завтра не состоится.

– Положение императора, кажется, не внушает опасений, – сказала Лопухина. – А ваш Иван – надутый и скверный мальчишка, он губит императора, – резко закончила она. – Ох уж эти Долгорукие!..

– Вы не любите их, – тихо произнес Левенвольде, овладевая ее руками.

Он нежно перебирал тонкие длинные пальцы, целуя каждый по очереди.

– Что мне Долгорукие? – сказал он. – Мне скучно от этого разговора! Какое нам дело до них? – и он поднял свои прекрасные глаза на Лопухину. – Притом император нездоров, и теперь все тихо.

– Ах, Рейнгольд, Рейнгольд! – с упреком произнесла Лопухина, низко склоняясь лицом к его кудрявой голове. – Вы иностранец, вы ничего не понимаете.

Рейнгольд, продолжая целовать ее руки, небрежно ответил:

– Вы научили меня быть русским.

– Долгорукие! – продолжала Лопухина. – Вы подумайте только! С тех пор как они подсунили ему эту надменную девчонку, княжну Екатерину, они совсем потеряли голову! Ее брат, этот убогий и развратный Иван, развращающий императора, – в двадцать лет генерал, майор Преображенского полка, Андреевский кавалер? Вы посмотрите только, как позволяет он себе третировать самых знатных людей с истинными заслугами! А она? Она, кажется, уже теперь считает себя императрицей. С тех пор как ее стали поминать на ектениях, называть «высочеством» и государыней – невестой, она уже принимает иностранных послов; мы должны целовать ее руку... Но это позор!..

– Вы завидуете? – сказал Левенвольде, отпуская ее руки. – Вы, конечно, красивее ее. Не хотели ли вы быть императрицей всероссийской?

Лопухина насильственно засмеялась.

– А не хотели ли вы быть супругом покойной императрицы? – ответила она.

По лицу Левенвольде прошла мгновенная судорога.

– Ах, не сердитесь, Рейнгольд, за эти воспоминания, – произнесла Лопухина. – Вы ведь, знаете, что я люблю вас.

Она замолчала, перебирая рукой мягкие кольца его волос.

– Я знаю, – начал Левенвольде, – что на последнем балу у Черкасского император оказывал вам слишком много внимания, что принцесса Елизавета кусала губы при виде ваших успехов, а Долгорукие сошли с ума.

Она тихо засмеялась.

– Да, – не возразила она, – вы правы. Но разве; Рейнгольд, я не красива?

Он поднял на нее загоревшиеся глаза.

– Вы – Венера, – сказал он. – И если бы я был императором, я бы не сделал такой глупости, как жениться на Екатерине Долгорукой.

– В том-то и беда, мой милый друг, что вы не император, а Долгорукие помешали мне быть императрицей, – смеясь, добавила она.

Левенвольде совершенно серьезно слушал ее, как бы соображая и взвешивая шансы.

– Но ведь вы замужем! – сказал он наконец. Она в ответ снова рассмеялась:

– Дорогой иностранец, это последнее из препятствий у нас...

– Но, – продолжал он, – хотя завтра их свадьба и не состоится, когда-нибудь она все-таки будет.

– Ну, что же? Петр Первый тоже был женат на моей тетке, да потом женился на Екатерине...

Левенвольде нахмурился.

– Ну, полно, полно, я ведь только болтала. Разве я не твоя! – прерывающимся голосом произнесла Лопухина.

Рейнгольд медленно поднялся и, взяв обеими руками ее голову, откинул ее и прижался губами к ее полуоткрытым губам...

В эпоху сказочных, неожиданных возвышений от неизвестности до первых мест в государстве и страшных падений с высоты могущества и власти в бездну ничтожества: смутно мелькавшие в душе Лопухиной надежды могли легко стать действительностью.

Давно ли светлейший князь Ижорский, Меншиков, этот прегордый Голиаф», был неограниченным вершителем судеб России и готовился сделать дочь свою императрицей? И что же? В дикой Сибири, в глухом Березове, почти нищий узник, он медленно и гордо угасал, пока смерть, несколько месяцев тому назад, не прекратила его немых страданий...

А этот самый граф Рейнгольд Левенвольде, пять лет тому назад, при Петре I, маленький, скромный, бедный лифляндский дворянин, резидент незначительного курляндского герцога, избегавший вообще даже показываться лишний раз на глаза царю, – при его вдове делается графом, камергером, теряет счет деньгам и легко и свободно становится одним из первых в том высоком кругу, где так еще недавно на него смотрели с презрительным снисхождением? А сама Екатерина Долгорукая, «государыня – невеста», завтрашняя императрица всероссийская?

Сегодня – внизу, завтра – наверху. Время оправдывало самые безумные надежды и самые ужасные опасения.

В последние месяцы, когда вся высшая аристократия, весь генералитет, иностранные посланники и резиденты потянулись в Москву вслед за двором отрока – императора, балы, празднества, охоты следовали непрерывно друг за другом. Блестящими» фестивалями» было отпраздновано состоявшееся в ноябре прошлого года обручение императора с княжной Екатериной. В угарном чаду промелькнуло Рождество. А на 19 января было назначено, теперь отложенное по болезни императора, его бракосочетание, и в тот же день – свадьба его любимца Ивана Долгорукого с графиней Натальей Шереметевой.

Четырнадцатилетний Петр, сильный и крепкий, рано возмужавший, с необузданной жадностью бросился на все соблазны, окружавшие его. На балах он всегда отмечал красивых женщин и, конечно, не мог оставаться равнодушным при виде Лопухиной, первой красавицы обеих столиц.

В танцах Лопухина почти превосходила цесаревну Елизавету, считавшуюся лучшей танцоркой этого времени. На охоте с борзыми, которую так любил император, она поражала своей смелостью и красотой посадки.

Несмотря на свою несомненную любовь к Лопухиной, граф Рейнгольд счел бы большой удачей для себя, если бы Лопухина овладела императором. Сухой и расчетливый, отставший от своего отечества и оставшийся чужим России, он всегда и во всем привык прежде всего искать личной выгоды. Избалованный успехами у женщин, делая через них свою карьеру, он невольно приобрел на них взгляд, как прежде всего на полезных ему людей и потом уже как на женщин. Единственное, несомненно теплое чувство в его душе принадлежало Лопухиной. Но и тут он невольно вычислял выгоды, какие могли выпасть на его долю в случае ее возвышения.

Начиная с Крещения, празднества прекратились ввиду болезни императора, хотя никто еще не считал эту болезнь смертельной даже тогда, когда выяснилось, что это оспа. Бурный период болезни миновал, и император уже встал с постели.

II

Левенвольде снова сидел на низком табурете. Положив руку ему на голову, Лопухина, улыбалась мечтательно и задумчиво. Казалось, этой женщине, так щедро одаренной, нечего было желать. По своему рождению (она была урожденная Балке, дочь известного генерала) и по замужеству она принадлежала к самому высокому кругу и со стороны мужа была родственницей царей; по богатству семья Лопухиных была одной из первых, соперничая с Черкасскими; по красоте – она бесспорно и вне сомнений была признана несравненной. Все в жизни улыбалось ей. И она чувствовала себя теперь пресыщенной счастьем, и от скуки и от беспокойства, свойственного ее характеру, искала, чем занять свою душу.

Она была одной из прелестных бабочек, вырвавшихся из куколок душных теремов, распахнутых мощной рукой великого царя, и наслаждающихся невиданной доньше на Руси свободой женщины.

Эти дни, скучные и однообразные, без балов и празднеств, где она бывала настоящей царицей, томили ее. Она с нетерпением ждала выздоровления императора, чтобы снова очутиться в привычной праздничной атмосфере балов, соперничества, интриг, легких побед.

Беззаботный Левенвольде, тоже привыкший быть центром придворных балов, как и она, томился вынужденным бездействием, хотя и говорил противное, потому что единственным делом его было блистать на балах.

– Мужа сегодня с утра нет дома, – произнесла Лопухина. – Он очень озабочен болезнью императора.

– Тревожиться нечего, – лениво ответил Рейнгольд.

– Вы знаете, Рейнгольд, – тихо отозвалась Наталья Федоровна, – мне с утра грустно, я все жду чего-то.

– Вам просто скучно, – с улыбкой ответил Рейнгольд. – Вы скучаете без балов, без охоты. Действительно, – продолжал он, – на рождественской псовой охоте в Александровской слободе вы были очаровательно смелы.

Шум тяжелых шагов и бряцанье плюр в соседней комнате прервали его слова.

– Это муж, – сказала Наталья Федоровна, снимая руку с головы Рейнгольда.

Он несколько отодвинулся. В комнату, гремя шпорами, быстро и озабоченно вошел муж Лопухиной, Степан Васильевич, в красном гвардейском камзоле с золотыми позументами. Это был высокий, крепкий мужчина лет, сорока пяти, с добродушным широким лицом. На этом цветущем лице трудно было найти следы тяжелого девятилетнего пребывания Лопухина в Кольском остроге, куда он был сослан Петром Великим за участие в деле царевича Алексея в 1718 году. В левой руке Лопухин держал краги и большую гренадерскую шапку.

Левенвольде поднялся ему навстречу.

– А, граф, очень кстати, – произнес Степан Васильевич, протягивая ему руку.

Левенвольде показалось, что его рука слегка дрожала.

В выражении лица мужа Наталья Федоровна сразу подметила необычное, тревожное выражение.

– Что случилось, Степан Васильевич? – спросила она.

Лопухин осторожно, словно хрупкую драгоценность, взял руку жены и нежно поцеловал ее.

– Дурные, ужасные вести, – дрогнувшим голосом ответил он, тяжело опускаясь на маленький табурет, где только что сидел Левенвольде. – Император умирает!..

Он уронил краги и шапку на ковер и закрыл глаза рукой.

Левенвольде побледнел. Тысячи опасений за себя, за свою будущность в чужой, дикой стране, где судьба человека зависела от произвола первого временщика, охватили его.

– Как! – растерянно произнесла Наталья Федоровна. – Умирает?

Лопухин овладел собою.

– Да, – ответил он, – умирает. Проклятые Долгорукие, они погубили его! Им что! – с горечью и истинным отчаянием продолжал он. – Что им до того, что угасает последний отпрыск дома Петрова!.. Они думают только о себе! Немало зла натворили они – и боятся расплаты.

Лопухин встал и крупными шагами заходил по маленькой гостиной.

– Да расскажи же, что случилось? – упавшим голосом спросила Наталья Федоровна. – Где ты был?..

– В Воскресенском у царицы – бабки, Измайлова известили, – ответил Лопухин и продолжал: – Позавчера, как встал он с постели, все было хорошо. Известно, не доглядели... Сам открыл окно и застудился. Теперь нет надежды. Что будет! Что будет! – схватился он за голову.

– Кто же наследует престол? – пересохшими губами спросил Рейнгольд.

Для него это был вопрос жизни и смерти. В его воображении мелькнуло прекрасное лицо цесаревны Елизаветы, ненавидящей Лопухиных и относившейся к нему с презрительным высокомерием.

– Кто? – повторил Лопухин. – Мужская ветвь дома Романовых пресекается...

– Елизавета! – воскликнула Наталья Федоровна, разделявшая тревоги своего любовника.

– Она ненавидит Лопухиных, – глухо отозвался Степан Васильевич. – Она будет преследовать весь наш род, как ее отец преследовал. Девять лет я безвинно томился в остроге, и мой дядя погиб на плахе... Царица Евдокия всю жизнь прожила в заточении, и теперь что от нее осталось?.. Дряхлая монахиня! С ее сыном, своим сыном, что сделал он!.. Его дочь наследовала его ненависть...

– Но кто же? – произнесла тихо Наталья Федоровна. Лопухин нетерпеливо махнул рукой.

– Говорят, существует тестамент покойной императрицы, – неуверенно начал Рейнгольд.

– Это об ее дочерях, – возразил Лопухин, – об Анне да Елизавете.

– После смерти Анны, герцогини Голштинской, остался сын Карл, – сказал Рейнгольд. – По тестаменту, кажется, престол должен перейти к нему.

– Завещание сомнительно, – ответил Лопухин.

– Мой отец видел это завещание, – вмешалась Наталья Федоровна. – Там прямо было сказано: Анне Петровне с «десцедентами». Ежели же она была бы бездетна – то Елизавете.

Лопухин покачал головой.

– Никто не придаст значения этому тестаменту, – сказал он. – Долгорукие – сильны...

– Ты думаешь?.. – бледнея, начала Лопухина.

– Да, – угадав ее мысль, взволнованно произнес Лопухин.

Рейнгольд тоже притих.

Очевидно, Лопухин допускал возможность, что Долгорукие провозгласят императрицей государыню – невесту.

Тяжелое раздумье овладело всеми. Все трое чувствовали себя как люди, находящиеся вблизи неведомой опасности.

– Я еду в Лефортовский дворец, – прервал наконец молчание Лопухин. – Не надо, чтобы неожиданно что-то натворили Долгорукие.

– Если разрешите, я буду сопровождать вас, – сказал Левенвольде.

– Едемте, – коротко ответил Лопухин. Мужчины поцеловали руку Натальи Федоровны и поспешно вышли.

III

То и дело к Лефортовскому дворцу в Немецкой слободе, принадлежавшему некогда известному любимцу Петра Великого, подъезжали сани и кареты с форейторами. Залы дворца наполнялись представителями генералитета, Сената и духовенства. На улицах, прилегающих ко дворцу, толпился народ, охваченный смутной тревогой. Во мраке морозной ночи кровавыми пятнами горели фонари и дымящиеся факелы в руках скороходов. Сдержанно кричали форейторы: «Берегись!...», и молча выходили из экипажей имеющие доступ ко двору сановники.

Тревожное настроение толпы, окружавшей дворец, росло; необъяснимым путем, как всегда бывает, в народ проникли вести, что император умирает.

В умах москвичей еще памятливы были все волнения и бури, пережитые Москвой при переменах на верху». Были в толпе старики, хорошо помнившие стрелецкие бунты. Смерть отрока – государя опять сулила им ряд ужасных возможностей. Всех пугало междоусобие дворцовых Партий. Слышались сдержанные разговоры. Чаще всех упоминалось имя Елизаветы.

А кареты, возки, сани – все ехали и ехали...

В большом зале, прислонившись к колонне, стоял офицер в форме поручика лейб – регимента. На нем был красный камзол такими же обшлагами, воротником и подбоем, обшитый по вороту, обшлагам и борту золотым галуном. На лосиной портупее висела широкая шпага. Он был еще очень молод, лет двадцати – двадцати двух. По выражению его лица, с большими любопытными, темными глазами, по его обособленности среди блестящего общества было сразу видно, что он еще не свой здесь. Он с жадным любопытством следил за каждым вновь прибывшим, и его глаза перебежали с одной залитой золотом фигуры на другую и останавливались с любопытством на черных рясах иереев в белых и темных клобуках, украшенных бриллиантовыми крестами.

– Ну что, князь, в диковинку? Сразу всех повидали, – раздался за ним тихий голос.

Молодой князь быстро повернулся. Перед ним стоял молодой капитан в одной с ним форме.

– А, – радостно произнес названный князем, – это вы, Петр Спиридонович! Верите ли, голова кругом идет.

– Знаю, знаю, – отозвался Петр Спиридонович. – Прямо из чужеземщины, ничего не зная, что творится здесь, да попасть сюда, да в такой момент! Есть отчего разбежаться глазам, Арсений Кириллович.

– Да, Петр Спиридонович, – ответил князь. – Верите ли, как во сне себя чувствую. Недели нет, как я здесь. И что же? Ну, право, как во сне! Что батюшка подумает! Нет, – продолжал он с увлечением, явно обрадовавшись собеседнику, – вы ведь знаете. Приехал я после заграницы, прямо из Парижа, к отцу, он говорит, поезжай в Петербург, пора послужить. Я что же, с радостью согласился. Приехал с батюшкиным письмом прямо к фельдмаршалу князю Долгорукому в Москву. Ведь мы в родстве, Шастуновы и Долгорукие – одного корня. А здесь князь Василий Владимирович и говорит: «Будь моим адъютантом», – и зачислил меня в лейб – регименты. А тут болезнь его величества. Что поделаешь? Представить не могли. Сегодня бесприменно приказал здесь быть. Вот и торчу. А его не видно. Говорят, император не поправится. Беда одна, – закончил он.

– По правде, беда, – ответил Петр Спиридонович. – Что теперь будет, – продолжал он пониженным голосом, – ума не приложу! Кто вступит на престол?

Он замолчал. Этот капитан лейб – регимента был камер – юнкером голштинского герцога, фамилия его была Сумароков. В настоящее время он состоял адъютантом графа Павла

Ивановича Ягужинского, генерал – прокурора Сената, того самого Ягужинского, полуполяка, полулитовца, кого Великий Петр называл своим оком.

В большом зале и примыкающих к нему комнатах стоял тихий и сдержанный гул голосов. Прибывшие разбивались на группы и взволнованно обсуждали последствия надвигающегося несчастья. От шитых золотом цветных кафтанов, разноцветных лент, звезд и брильянтов рябило в глазах. Черными пятнами на блестящем фоне военных и гражданских генералов выделялись темные рясы духовенства.

– Вот, посмотрите, – говорил Сумароков, – видите вы этого генерала с таким суровым худым лицом? Знаете, кто это?

Князь отрицательно покачал головой.

– Это – герой России, как сказал о нем испанский посол Дюк де Лирия, – продолжал Сумароков. – Фельдмаршал, князь Михаил Михайлович Голицын.

Шастунов с невольным уважением взглянул на старого генерала. Кто не знал подвигов Михаила Михайловича, его беззаветной отваги в битвах под Лесным, Нарвой, где он спас остатки разбитой армии Петра и честь Семеновского полка, его блистательного похода в Финляндию 1714 года, его бескорыстия и любви к солдатам? В популярности в рядах русской армии мог бы соперничать с ним разве только другой фельдмаршал, князь Василий Владимирович Долгорукий.

– А с ним рядом, – говорил Сумароков, – этот красивый, стройный человек с Александровской лентой, это князь Василий Лукич Долгорукий. Старик, а на вид нельзя дать и сорока лет. С ума сводил парижских красавиц еще десять лет тому назад, как был назначен послом при регенте Филиппе Орлеанском. Вы, князь, недавно из Парижа. Чай, слышали о нем?

Улыбка промелькнула по губам Шастунова. Действительно, при французском дворе до сих пор не забыли изящного, остроумного, смелого Василия Лукича, соперничавшего в успехах у женщин с первыми кавалерами блистательного двора регента, несмотря на свой почтенный возраст. Случалось ему встречать и старушек, еще сохранивших нежное воспоминание об этом «le prince charmant»¹ вовремя его первого пребывания в Париже, во дни молодости, в конце прошлого века, где он пробыл тринадцать лет.

– Он – член Верховного тайного совета, министр, – продолжал словоохотливый Сумароков. – Всё в их руках.

Он вздохнул и затем продолжал свое перечисление. Князь слушал его с жадным любопытством.

– Толстый, надутый, словно лопнуть готов от надменности, – князь Черкасский, самый богатый человек в России. Тощий монах с длинной бородой, с брильянтовым крестом на клобуке, член Синода, архиепископ новгородский Феофан, ехидный, хитрый; рядом с ним архиепископ тверской Феофилакт, низенький, толстенький, а высокий – ростовский архиепископ Георгий. Подумаешь – друзья! А сами друг друга в ложке воды готовы утопить, горло перегрызть друг другу. А! Вот входит старик, – смотрите, как почтительно раздвигаются. Это сам великий канцлер граф Гаврила Иваныч Головкин, а с ним князь Дмитрий Михайлович Голицын. А, Верховный тайный совет собирается! Князь, князь, – торопливо закончил Сумароков, – а вот ваш фельдмаршал и Ягужинский. Идемте!

Через толпу расшитых мундиров Молодые люди пробрались к образовавшемуся проходу и примкнули к свите Головкина и фельдмаршала.

Твердыми, уверенными шагами, прямой и стройный, с сурово сжатыми губами, блестящими глазами, глядящими поверх голов, с надменно поднятой головой, не отвечая на поклоны, фельдмаршал прямо прошел к окну, где стояли Голицын с Василием Лукичом. К ним же подошли Головкин с Дмитрием Голицыным и Ягужинский. Между ними начался сдержанный, но

¹ «Прекрасном принце»(фр.).

оживленный разговор. Окружающие отодвинулись подальше. Взоры всех, словно с тревогой и опасением, устремились на эту маленькую группу людей, одни из которых, по своему положению, как министры, члены Верховного тайного совета, другие, как знаменитые родом и доблестью, занимали первенствующее место в государстве и, казалось, держали в своих руках будущее России.

Надо сказать, что большинство устремленных на них взглядов выражало явное недоброежелательство.

Архиепископ Феофан, сложив на груди руки, с нескрываемой усмешкой глядел на эту группу, изредка что-то говоря с насмешливой улыбкой своим собеседникам, хотя те, очевидно, не разделяли его настроения. Всем было хорошо известно, что Феофилакт Тверской был близок к князьям Голицыным, а Георгий Ростовский – к Долгоруким.

Шастунов и Сумароков стояли в стороне и молча наблюдали. Им обоим бросилось в глаза несколько высокомерное отношение князей Голицыных и Долгоруких к Ягужинскому. Его словно держали поодаль, и, чтобы сгладить это, граф Головкин то и дело обращался к нему, видимо стараясь втянуть его в общую беседу. Ягужинский был его зятем, и граф Головкин давно уже стремился провести его в члены Верховного тайного совета, но все безуспешно. Несмотря на выдающееся положение Ягужинского, родовитые князья не хотели видеть равню в простом шляхтиче.

Из внутренних покоев вышел невысокого роста пожилой генерал с Андреевской лентой на груди. На его лице была явно видна полная растерянность. Это был отец государыни – невесты, князь Алексей Григорьевич Долгорукий. Он прямо подошел к группе верховников и, взяв за руку фельдмаршала Долгорукого, начал что-то взволнованно объяснять, словно умолять. До ушей Сумарокова и Шастунова доносились отдельные слова: «Завещание... государыня – невеста...»

– Невеста – не жена, – донеслись слова фельдмаршала Голицына, сказанные громче других.

Алексей Григорьевич стал опять горячо убеждать и вынул из кармана за пазухой сложенный вчетверо большой лист. Он развернул его, и князь Шастунов заметил на нем большую императорскую печать. Василий Лукич внимательно рассматривал лист и что-то тихо говорил, Ягужинский читал текст через его плечо.

Сумароков, наклонясь к уху Шастунова; едва слышно прошептал:

– Слышно, что император составил завещание, по которому наследницей престола назначает государыню – невесту, княжну Екатерину Долгорукую. Вечер у князя Алексея Григорьевича собрались все Долгорукие... Да между собою грызутся. Кто Катерины не любит, кому Иван поперек горла стал. Так и не столковались. А впрочем, почему знать! Захотят фельдмаршалы – все сделают!

В эту минуту фельдмаршал Василий Владимирович нетерпеливо махнул рукой и громко сказал:

– Потом!

Князь Алексей Григорьевич растерянно и торопливо свернул и спрятал за пазуху лист и бросился к Черкасскому, потом к архиепископам, везде встречаемый презрительно – недоверчивыми улыбками.

Потом он снова скрылся во внутренних покоях.

Прошло несколько минут; из внутренних покоев торопливо вышел бледный и взволнованный Иван Ильич Дмитриев – Мамонов, тайный супруг царевны Прасковьи Иоанновны. Он подошел к архиепископам и что-то сказал им. Черными тенями они немедленно двинулись за ним во внутренние покои. Словно вздох пронесся по залу. Всякий понял, что минуты императора сочтены.

IV

Какое-то жуткое, напряженное ожидание, шепот собравшихся, казавшийся зловещим в этих просторных покоях, еще недавно наполненных шумным весельем, действовали удручающе на князя Шастунова. Ему минутами казалось, что свечи в золотых канделябрах меркнут, чадный туман нагоревших свечилен стоял в воздухе, затемняя глаза. Слышался только зловещий гул сдержанных голосов. Словно какие-то тени реяли в воздухе.

Здесь же, в этом самом Лефортовском дворце, грозный первый император справлял свои молодые оргии, празднуя победу над утопавшей в крови Москвой!.. И здесь кончал жизнь его последний мужской отпрыск.

Голова Шастунова кружилась. Он чувствовал словно дурноту. Он глубоко вздохнул, выпрямился, оглянулся кругом и вдруг вздрогнул. Его взгляд упал на крупную фигуру Лопухина, пробивавшегося среди толпы в сопровождении графа Левенвольде. Бледные щеки его мгновенно покраснели. Это не укрылось от капитана Сумарокова.

– А – а, – шепотом в ухо князя произнес он, – муж нашей первейшей красавицы и в сопровождении друга.

Было в его тоне что-то, что не понравилось молодому князю. Глаза его потемнели, и он в упор посмотрел на капитана.

– Да, да, – продолжал Сумароков, – ведь вы знакомы с его женой, Натальей Федоровной? Помните, вы так много катались с ней на прошлой неделе е гор на Москве – реке?

Помнил ли Шастунов!

– А этот красавчик, – шептал Сумароков, – граф Левенвольде, вы тоже его видали. Да, на него приступом идут наши дамы.

Шастунов страшно побледнел и срывающимся шепотом сказал:

– Я прошу вас, капитан, замолчать...

Сумароков с некоторым удивлением взглянул на него, пожал плечами и отвернулся. Ему было непонятно раздражение князя. Весьма естественно, что молодой князь, познакомившись с Лопухиной, сразу влюбился в нее. Это была участь всех, кто приближался к ней. Естественно, что Лопухина, по врожденной привычке, подавала ему надежды. Но неестественна была наивность князя. Кто же не знал в обеих столицах, какую роль играл при ней Левенвольде? Чего же раздражаться? Это так просто. В любовной игре, как и во всякой, – каждый сам за себя.

Все эти мысли мгновенно промелькнули в уме Сумарокова, и он снова пожал плечами.

Лопухин, озабоченный и хмурый, прошел, ни на кого не глядя, через толпу в дальние покои, где еще с утра сидели тетки государя – Екатерина, герцогиня Мекленбургская, и царевна Прасковья, эти бледные» Ивановны», как их называли при дворе.

В толпе произошло движение. Образовался широкий проход от самых дверей. Голоса смолкли. Настало мгновенное молчание. В двери входила цесаревна Елизавета. На ее пышных, темно – бронзовых волосах не было пудры. Молодое лицо ее горело и от мороза и от волнения. Большие голубые глаза сверкали. Во всей ее фигуре, рослой и крупной, с высокой грудью и узкой талией (ей было в то время двадцать лет), было что-то властное, гордое и самоуверенное, напоминавшее ее великого отца. Следом за ней шел ее адъютант, тридцатитрехлетний генерал, красавец Александр Борисович Бутурлин, и стройный, изящный мужчина с энергичным и насмешливым сухим лицом, ее лейб – медик Лесток.

Многие с любопытством глядели на молодого генерала. Всем была известна его давняя близость к цесаревне Елизавете. Когда об этой близости донесли Петру II, он частью под влиянием ревности, частью по интригам Алексея и Ивана Долгоруких, ненавидевших цесаревну, отделался от Бутурлина, послав его командовать украинскими полками, к великому горю Елизаветы; это было весной предыдущего года.

Узнав в своей глуши о предстоящей свадьбе императора, Бутурлин, рискуя навлечь на себя его гнев, пользуясь своим положением» персоны четвертого класса», никого не спрашивая, поспешил ко дню бракосочетания императора в Москву. Но он поспел не к брачным торжествам. Елизавета была несказанно рада его приезду и оставила его у себя в прежней должности камергера и адъютанта.

Едва отвечая на поклоны низко склонявшихся перед ней сановников, она прошла во внутренние покои.

Цесаревна проживала в это время в подмосковном селе Покровском. Там, окруженная верным и преданными людьми, она в полной мере наслаждалась жизнью и чувствовала себя маленькой царицей. Узнав об опасности, угрожающей Петру, она поспешила приехать в Москву. После ее ухода шепот на несколько минут стал оживленнее, но скоро затих, и опять жуткое чувство ожидания охватило зал.

А тот, кто являлся причиной всех разыгравшихся страстей, интриг, опасений, надежд и отчаяния, отрок – император, лежал в бреду, беспомощный, слабый и умирающий. И был он уже не императором, отходя туда, где нет ни царей, ни рабов, где все равны, – а просто бедным, жалким, одиноким мальчиком, сыном несчастного отца, выросшим без матери, никем не любимым, иначе как император, с никем не согретым маленьким сердцем, которому так нужна была теплая ласка и любовное слово правды.

На своей высокой постели под балдахинами, затканными золотыми орлами, он метался в предсмертном бреду. Его лицо представляло страшную, вздутую багровую маску.

Бессвязные слова вырывались из его опухших, воспаленных губ. Кому он был дорог? Разве этому старику с сухим, жестким лицом, с большими умными глазами, что сидел у его кровати и держал в руках его горячую, вздрагивающую руку. Да, быть может, только ему, этому немцу, своему воспитателю, вице – канцлеру, гофмейстеру двора, барону Генриху Иоганну Остерману, смешно переименованному царицей Прасковьей, женой царя Иоанна, в Андрея Ивановича.

Если бы этот Андрей Иванович мог плакать, он бы плакал сейчас. Но сухие глаза его глядели ясно, и только подергивание губ и судороги щек обнаруживали его глубокое горе. Он так любил этого мальчика!

В углу, закрыв лицо руками, молча сидел Иван Долгорукий, любимец и друг умирающего императора, брат его невесты. Но едва ли его отчаяние было вызвано чувством любви, благодарности и дружбы. Он слишком высоко был вознесен, чтобы не бояться падения. Кто еще? Бабка царица? Мать его несчастного отца, выживающая из ума, замученная его дедом, отрекшаяся от жизни монахиня Елена, в миру Евдокия? Никого! Никого!

Остерман тихо прижал руку Петра к губам, и ему показалось, что он обжег губы.

Вошедший в комнату Лесток, присланный цесаревной, молча и беспомощно стоял в ногах постели. Вслед за ним вошли архиепископы для совершения обряда соборования, за ним проскользнул князь Алексей Григорьевич и, подойдя к сыну, что-то торопливо зашептал ему.

Петр заметался. В его бессвязном бреду можно было различить слова: «Наташа... пора... едем... полк...»

Он поминал свою рано умершую сестру, которую он так нежно любил и которая так любила его. Вдруг он поднялся. Опухшие глаза его с трудом раскрылись. Он сделал движение встать с постели и ясным голосом произнес:

– Запрягайте сани, хочу ехать к сестре...

С этими словами он упал на спину и захрипел. Тело его вздрогнуло, он вытянулся и застыл.

– C'est la mort², – произнес Лесток.

² Это смерть (фр.).

Остерман припал к руке почившего.

Иван Долгорукий громко зарыдал.

Бедный мальчик! Да, ты пошел к своей сестре – искать ее в безграничных пустынях вечности...

Был в начале первый час ночи на 19 января 1730 года.

По какому-то странному инстинкту шепот прекратился в залах дворца.словно ангел смерти пролетел по всем залам прежде, чем проникнуть в спальню умирающего. Но вот из задних комнат послышались крики, чье-то пронзительное рыдание. Толпа дрогнула, многие осенили себя крестным знамением. На пороге бледный, с мутными глазами, растрепанными волосами появился Иван Долгорукий. За ним виднелось испуганное лицо его отца. Иван остановился на пороге и хрипло произнес:

– Петр Второй, император и самодержец всероссийский, ныне преставился.

Он сделал два – три неверных шага вперед и, обнажив шпагу, воскликнул:

– Да здравствует императрица Екатерина! Гробовое молчание ответило ему.

– Да здравствует императрица Екатерина!

На этот раз за ним раздался слабый и неуверенный голос его отца:

– Да здравствует императрица Екатерина!

Иван посмотрел вокруг тусклыми глазами. Он встретил враждебные и насмешливые лица. Василий Владимирович быстро подошел к нему и крепко схватил его за руку.

– Ты с ума сошел, – сказал старый фельдмаршал. – Иди домой! Ты не в себе.

Иван еще раз кинул вокруг себя беспомощный взгляд, вложил шпагу в ножны и, шатаясь, направился к выходу.

Послышался гул голосов, движение. Некоторые направились поклониться телу императора, другие поспешили уехать, частью из боязни заразы, частью охваченные тревогой за свою дальнейшую судьбу. Третьи в ожидании чего-то, собираясь группами, оживленно совещались. Дворец значительно опустел.

Стоявшая с непокрытыми головами у дворца толпа, крестясь, медленно и тревожно расходилась.

В числе прошедших к одру императора были верховники, а за ними следом прошли и Шастунов с Сумароковым. Архиепископы читали молитвы. На коленях около постели стояли Екатерина и Прасковья, плача и крестясь. Елизавета судорожно прильнула к руке Петра и тихо шептала:

– Петруша, Петруша, ненаглядный...

Напрасно Лесток старался оторвать ее от трупа. Верховники и все вошедшие преклонили колени. Через несколько минут фельдмаршал Долгорукий поднялся и тихо произнес, наклонясь к уху Головкина:

– Не надо терять времени. – И верховники, а также фельдмаршал Голицын и Ягужинский один за другим тихо вышли из комнаты.

Шастунов и Сумароков получили приказание ждать дальнейших распоряжений и не отлучаться из дворца. Верховники прошли в задние апартаменты.

Потрясенный всем пережитым, Шастунов опустился в широкое кресло. Сумароков тоже притих и озабоченно ходил из угла в угол.

Глаза Шастунова слипались. Запрыгали огни, завертелся красный камзол Сумарокова, и он задремал.

V

Была роковая ночь, когда судьба бросала на чаши весов вечности жребий России. От случайности, мгновенной решимости одной или другой группы или лица зависела судьба России.

Потрясенная Елизавета ехала к себе домой, сидя плечо к плечу с Бутурлиным; против них в санях поместился Лесток.

– Ваше высочество, – с оживлением говорил по – французски энергичный француз. – Нельзя терять ни одной минуты. Помните, ваш великий отец говорил, что промедление подобно смерти. Не убивайте же своей будущности и будущности России. Один удар, и все будет кончено. Клянусь, я ручаюсь за успех. Ваше высочество, гвардия обожает вас. Дозвольте нам действовать. Тут близко казармы Преображенского полка. Велите ехать туда, явитесь солдатам, напомните им их прежнюю доблесть, славу их, верность вашему отцу, и они бросятся за вами в самый ад! И завтра мы провозгласим дочь Петра Великого русской императрицей. Вы – кротки и милосердны, вы успокоите Россию. Народы России благословят ваше имя. Кому же вы хотите бросить на жертву ваше наследие – алчным Долгоруким? Старухе монахине? Или чужеземцам – голштинцам, или, может быть, этим жалким» Ивановнам?»

Горячий француз так волновался, что чуть не выпрыгивал из саней. Елизавета молчала. После волнений последних часов это ясное морозное небо, горящее звездами, близость Бутурлина, тесно прижавшегося к ней, действовали на нее расслабляюще. Ей хотелось одного – покоя и тишины.

Горячая рука Бутурлина пожимала ее руку. Он тоже молчал, забыв в эти минуты обо всем, кроме этой красавицы, так неясно прильнувшей к нему.

– Решайтесь, ваше высочество, – продолжал Лесток. – Решайтесь, пока не пропущен момент.

Цесаревна с томной улыбкой почти опустила голову на плечо Бутурлина. Опасности, волнения, тревоги, быть может, монастырь или Шлиссельбург вместо трона – нет. Бог с ними, – и ленивым, томным голосом она произнесла:

– *Laissez done, cher Lestok, a demain, a demain!*³

Она отнимала у себя десять лет царствования за минуты любовного отдыха.

В то же время в Лефортовском дворце шли усиленные переговоры. В одном зале собрались представители Сената и генералитета с князем Черкасским, фельдмаршалом Трубецким и Ягужинским и архиепископы. В другом – министры Верховного совета, пригласившие с собой заседавшего в совете без звания министра сибирского губернатора князя Михаила Владимировича Долгорукого, приехавшего на бракосочетание своей племянницы, княжны Екатерины, государыни – невесты, и двух фельдмаршалов, Долгорукого и Голицына.

Фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой был заметно обижен тем, что верховники не пригласили его с собой. Под насильственной улыбкой скрывал свою досаду и генерал – прокурор Ягужинский.

– Осьмиличный совет решит за нас, – насмешливо произнес новгородский архиепископ Феофан.

Оставшиеся чувствовали себя растерянно и неловко. Они понимали, что верховники решают теперь вопрос государственного строения. Никто не решался начать говорить определенно. Настроение их было подавленное. Главной и страшной угрозой стояли перед ними Долгорукие. Если фельдмаршал Василий Владимирович пользовался общим уважением, так же

³ Оставьте же, дорогой Лесток, до завтра, до завтра! (фр.).

как и Василий Лукич, то фаворит покойного царя Иван и его отец Алексей Григорьевич были искренно всеми ненавидимы за их глупую надменность, корыстолюбие и несправедливость.

Князь Черкасский только сопел. Ему было решительно все равно, кто станет во главе правления, только бы там не было места Долгоруким. Ягужинский, стоя рядом с камергером князем Сергеем Григорьевичем Долгоруким, безобиднейшим человеком без определенных политических взглядов, хитро и тонко выпрашивал его о намерении Голицыных и Долгоруких.

По предшествовавшей деятельности он знал князя Дмитрия Михайловича Голицына как приверженца представительного строя, вроде Речи Посполитой или английского. Голицын всегда проводил мысль, что подданные должны принимать участие в правлении государством, в делах как внутренней, так и внешней политики. Благодаря ему императрицей Екатериной был дан 21 марта 1727 года указ «О сухопутной армии и флоте с целью устроить их с наименьшей тягостью для народа». Предполагалось образовать комиссию «из знатного шляхетства и из посредственных персон всех чинов – рассмотреть состояние всех городов и земель и по рассмотрении наложить та-;) кую подать, чтобы было всем равно». Это было как бы уже шагом к признанию представительного строя.

Ягужинский был уверен, что теперь Дмитрий Михайлович воспользуется случаем, чтобы осуществить свои любимые идеи. Так как прямых, бесспорных наследников не было, то являлось весьма вероятным, что избранное лицо согласится на известные уступки. Быстрый, изворотливый ум Ягужинского живо представил возможное положение дел, тем более что он уже ранее слышал кое-что об уже готовом проекте Дмитрия Михайловича и об его словах, что необходимо прибавить себе воли. Ягужинскому, в сущности, было все равно, хоть республика, только бы самому стоять на верхах.

Беспокойные взгляды все чаще и чаще останавливались на комнатах, из которых ждали появления верховников.

Ягужинский говорил Сергею Григорьевичу:

– Что ж, пусть решают. Но долго ли терпеть нам, что нам головы секут! Настало иное время. Не быть теперь самодержавию!

– Это не мое дело, – ответил добродушный князь Сергей Григорьевич. – Я в такое дело не путаюсь и даже не думаю о нем.

Ягужинский замолчал. Его все еще мучило перенесенное им унижение. Верховники не пригласили его с собою на совещание, несмотря на желание графа Головкина.

В то же время и верховники, нервно и нетерпеливо, спешили покончить с вопросом. Несмотря на их видимую власть, они чувствовали шаткость своего положения. Ведь если бы фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой был поэнергичнее или вздумалось бы цесаревне Елизавете явиться сейчас в Лефортовский дворец с ротой преображенцев, то их песенка была бы спета. Пока все еще ошеломлены – надо действовать. Надо прийти к согласию между собою и заручиться согласием Сената и генералитета.

Заседание начал речью князь Дмитрий Михайлович Голицын. Указав на то, что угасло мужское потомство Петра Великого, он заметил, что о дочерях Петра, рожденных до брака с Екатериной, не может быть речи и что завещание, оставленное Екатериной, не может иметь никакого значения, потому что, – добавил он, – «эта женщина, с ее прошлым, не имела никакого права воссесть на российский престол, тем менее располагать короной российской».

– Надо думать, – закончил он, – о новой особе на престол и о себе также.

После его слов наступило молчание. Его прервал неуверенный голос Алексея Григорьевича:

– Покойный государь оставил завещание...

– Завещание подложно, – резко ответил князь Дмитрий Михайлович. – Невеста государя не стала женой, и на нее не может переходить никакого права на престол.

– Но позволь, князь... – начал Василий Лукич.

Его прервал Василий Владимирович. Он встал во весь рост и, энергично ударяя по столу рукой, сурово проговорил:

– Да! Это завещание подложно! Никто не вправе вступать на престол, пока еще находятся в живых особы женского пола, законные члены императорского дома....

– Всего справедливее было бы провозгласить государыней царицу Евдокию, ведь она бабка покойного императора, – произнес граф Головкин.

– Монахиня!.. – отозвался Алексей Григорьевич Долгорукий.

– Насильный постриг!.. – весь вспыхнув, возразил старик Головкин.

Но Дмитрий Михайлович прервал их. Он встал и своим спокойным, ясным, убедительным голосом громко сказал:

– Я воздаю полную дань достоинствам вдовствующей императрицы, но она только вдова государя. Есть дочери царя, три дочери царя Ивана. Избрание старшей, Екатерины, привело бы к затруднениям. Она сама добра и добродетельна, но ее муж, герцог Мекленбургский, зол и сумасброден. Мы забываем Анну Ивановну, герцогиню Курляндскую, – это умная женщина, и в Курляндии на нее нет неудовольствий.

Дмитрий Михайлович обвел всех вопросительным взглядом и опустил на место. Его предложение не было неожиданностью для некоторых из его товарищей по совету. По тонкому, до сих пор красивому лицу Василия Лукича скользнула довольная улыбка. Он вспомнил свое пребывание в Митаве четыре года тому назад, когда он по доводу курляндских дел ездил туда по поручению Меншикова. Это было после избрания Морица Саксонского курляндским герцогом. Герцогской короны домогался и князь Ижорский. Старый и опытный соблазнитель. Василий Лукич сумел тогда легко, без особого труда, покорить вдовствующую герцогиню, не считая ее даже особенно ценной добычей ввиду ее обездоленного, униженного и «мизерного» положения. Он не без удовольствия вспоминал, как бесновался тогда ее камер – юнкер Бирон, только что приближенный к ней. В своем высокомерии он не считал этого камер – юнкера, заведовавшего конюшнями герцогини, за соперника и третировал его почти как лакея... Он вспомнил один вечер, поздний вечер, встречу его с Бироном перед опочивальней герцогини, дерзкие слова Бирона и нанесенную им Бирону пощечину. Бирон не забудет этого! Эти воспоминания мгновенно пронеслись в душе Василия Лукича. Он сумел бы вернуть свою власть над Анной, а Бирон... его просто можно не пустить в Россию. И твердым голосом Василий Лукич произнес:

– Это самый достойный выбор.

Алексей Григорьевич, видя, что дело с завещанием не находит поддержки, и привыкнув во всем следовать за Василием Лукичом, молча в знак согласия наклонил голову.

Казалось, что избрание примиряло всех. Все хорошо помнили Анну во время ее приездов ко двору, по делам. Дела эти были исключительно денежные, и герцогиня тогда буквально обивала пороги у всех вельмож, имевших какое-либо влияние при дворе. Все помнили, как бедная» Ивановна» была любезна, уступчива, внимательна.

Такою члены совещания представляли ее себе и на основании этого склонялись к ее избранию, рассчитывая легко управлять ею.

Молчание прервал фельдмаршал Долгорукий.

– Сам Бог внушил тебе эту мысль, князь Дмитрий Михайлович, – торжественно начал он. – Она исходит от чистосердечной любви твоей к отечеству. – И могучим голосом, каким он командовал полками, он воскликнул: – Виват императрица Анна Ивановна!

– Виват императрица Анна Ивановна! – поддержал его фельдмаршал Голицын.

– Виват императрица Анна Ивановна! – раздались воодушевленные голоса остальные члены совещания.

Когда смолкли крики, князь Дмитрий Михайлович продолжал:

– Сам Бог указывает пути России. Всем ведомо нам, что царь Петр Первый жизнь свою полагал за благоденствие России. Но прошло пять лет со дня его кончины, и что видим мы? На престоле женщина, возведенная на его ступени преступным властолюбием Меншикова. Женщина низкого рода, даже неграмотная... с этого началась гибель России. – Бледное лицо Голицына окрасилось ярким румянцем. – Кто же правил при ней! – высоким голосом продолжал он. – Воля ее была как тростник, колеблемый ветром! Меншиков, корыстный и жадный царедворец, Левенвольде, замечательный единой красотой, да он ли один! Бессовестные фавориты расхищали достояние народное!.. Бог призвал ее к себе... Что было после?.. Священна память отрока – императора, перед чьим неостывшим трупом мы только что преклоняли колени! Но что было при нем? Я не в укор говорю тебе, Алексей Григорьевич, – обратился он к вспыхнувшему Долгорукому. – Не вы, так другие... Не все ли равно? Надо сделать так, чтобы ни вы, ни другие не могли по – своему, своевольно править Россией. Нет, – с силой продолжал Голицын, – довольно мы терпели от бедствий самовластия с его фаворитами! Пора обуздать верховную власть благими законами! Надо полегчить себе и народу! Надо прибавить воли! – Он обвел всех присутствующих горящими глазами.

– Как полегчить? – спросил Головкин.

Он был сильно взволнован речью Голицына. Его старая голова тряслась. Он и сочувствовал, и боялся...

– Императрица Анна, – продолжал Голицын, – не ожидала этой высокой доли. Мы предложим ей престол под условием деления ее власти с нами и народом.

Одобрительный шепот прошел по собранию.

Большинство уже заранее знало проект Голицына, В тайных заседаниях совета, с участием значительных сановников, неоднократно возбуждался этот вопрос, и были уже намечены границы императорской власти. Если он счел нужным громко сказать теперь об этом, то только для того, чтобы вновь единодушно было подчеркнуто состоявшееся раньше решение.

– Нам надлежало бы, – продолжал он, – сейчас же составить пункты и послать их государыне Анне Ивановне.

Стук в дверь прервал его слова. В комнату вошел барон Остерман. Его лицо, казалось, еще более похудело осунулось, нос заострился, но глаза глядели по – прежнему ясно нетвердо. Остерман, прихрамывая, опирался на палку.

Его встретили почтительно и с удовольствием, и Дмитрий Михайлович тотчас же сообщил ему об избрании герцогини Курляндской, на что барон ответил, поглаживая свой острый подбородок:

– Выбор натуральный и достойный.

Затем Дмитрий Михайлович передал ему о решении собрания ограничить императорскую власть. Андрей Иванович задумчиво помолчал несколько минут и потом произнес:

– Вы – природные русские, вы лучше знаете, что свойственно природе русского народа. Если вы можете считать себя сейчас по душе и крови представителями народа, к которому вы принадлежите, – то вы правы. Vox populi – vox Dei⁴. Мне нечего сказать. Но теперь, я полагаю, надо выйти и сообщить шляхетству и генералитету о выборе императрицы, чтобы не было нареканий на Верховный тайный совет.

Старик поднялся и, тяжело опираясь на палку, медленно двинулся к дверям. Он словно еще больше постарел и захромал. Во главе с ним восемь вершителей судеб России вошли в зал, где ожидали их решения представители Сената, Синода и генералитета.

⁴ Глас народа – глас Божий (лат.).

VI

Еще далеко до рассвета, был всего шестой час, и цесаревна Елизавета мирно почивала, когда кто-то вдруг сильно схватил ее за плечо и потряс.

– Ваше высочество, – раздался над ее ухом нетерпеливый, резкий голос, – вставайте, ваша судьба решается... Вставайте же, ваше высочество, вставайте...

С легким криком поднялась Елизавета и при ясном огне многочисленных лампадок, горевших пред киотом в углу, увидела взволнованное лицо Лестока. Лесток, как свой человек, вернулся во дворец цесаревны и на правах ее лейб – медика ворвался в ее спальню, несмотря на сопротивление фрейлины Мордвиновой.

– Ради Бога, Лесток! Что случилось? – вся дрожа, спросила Елизавета. – Или идут арестовать меня?..

– Вы дождетесь и этого, – взволнованно проговорил Лесток, – Я сейчас из Лефортова. Вопрос решен. Тайный совет провозгласил императрицей герцогиню Курляндскую.

– А, вот как, – зевая, произнесла Елизавета. – Отвернитесь же, Лесток, я накину на себя пудермантель.

Лесток стал к цесаревне спиной и с жаром продолжал:

– Тайный совет решил все келейно, никого не спрашивая. Ваши архиепископы, сенаторы и генералитет ждали в соседней комнате, как бессловесное стадо. Они ждали долго...

– Ну, теперь можете повернуться, – равнодушно прервала его Елизавета.

Лесток с живостью повернулся.

– Проводив вас, я поспешил вернуться во дворец. Верховники вышли после совещания и объявили свою волю. Свою волю, подумайте, ваше высочество, – горячо продолжал Лесток. – И Дмитрий Михайлович потребовал согласия. И от имени Сената, Синода и генералитета оно было дано. Никто не посмел возражать... Никто!

Елизавета задумчиво слушала его.

– Итак, вопрос решен, – сказала она наконец. – Чего же вы хотите?

Лесток даже подпрыгнул на месте.

– Но подумайте же вы, дочь Великого Петра, кому вы уступаете свои права? Невежественной, грубой любовнице берейтора!..

– Лесток, – тихо, но сурово остановила его Елизавета, – она моя сестра.

– Даже рискуя навлечь на себя ваш гнев, я не возьму назад своих слов, – продолжал Лесток. – Но это еще не все. Верховники пошли дальше... Они решили ограничить власть императрицы, и не ваша сестра будет управлять империей, а восемь верховников, из которых четверо – Долгорукие!..

– Как? – спросила Елизавета, и ее равнодушие мгновенно исчезло. – Что же будет?

– Вы знакомы, ваше высочество, с римской историей, – с усмешкой произнес Лесток, – и вы знаете, что значит олигархия. Теперь этих олигархов в России будет восемь. Значит, восемь деспотов, вместо одного в худшем случае. Они уже составили пункты, ограничивающие самодержавную власть и делающие их самих самодержавцами. Завтра, то есть сегодня, в десять часов утра, они собирают в Мастерской палате представителей высших чинов империи, и тогда все будет кончено. Вам осталось едва три часа. Я видел сегодня Толбузина, капитана Преображенского полка, я говорил с князем Черкасским и многими другими... Для них – все лучше Долгоруких. Одевайтесь, ваше высочество, рота кавалергардов в вашем распоряжении. Преображенский полк ждет вашего слова, в толпах на улицах и площадях Москвы громче всех звучит ваше имя. Одевайтесь же, ваше высочество, вот мундир Преображенского полка и...

Елизавета тяжело дышала. Слова Лестока зажгли ее бурную кровь. Она колебалась.

В эту минуту в спальню вошел Бутурлин. Его поспешили разбудить ввиду тревожных событий. При виде его лицо Елизаветы оживилось.

– Александр Борисович, – сказала она, – Лесток предлагает мне корону. Она, кажется, у него в кармане.

– Вы изволите шутить, ваше высочество, – нервно произнес Лесток. – Ваша слава мне дороже жизни.

– Я знаю, в чем дело, – ответил Бутурлин, – но умоляю ваше высочество не рисковать своей драгоценной жизнью или свободой, не взвесив всех возможностей. Не забудьте, ваше высочество, что фельдмаршал Долгорукий – подполковник Преображенского полка, что его любит войско, не забудьте фельдмаршала Голицына, подполковника Семеновского полка, самого любимого вождя во всей российской армии; я не смею сказать более, но такие люди знают, что делают, и сумеют отстоять то, что делают. Но, ваше высочество, – добавил он, – моя шпага, моя жизнь принадлежит вам как теперь, так и всегда. Скажите, что должен я делать?

В его словах, во всей его фигуре видна была решимость и энергия.

Елизавета глубоко задумалась. Жизнь так прекрасна. Так прекрасен стоящий перед ней сейчас ее рыцарь. Она так еще молода! Не вмешиваясь в игру, она сохранит все, чем наслаждается теперь. Вмешавшись же, она рискует всем ради сомнительной авантюры. Минутный пыл ее прошел. Настоящее было так прекрасно для ее двадцатилетнего сердца, что она боялась поставить его на карту.

Она долго молчала, пристально глядя на почтительно склонившегося перед ней Бутурлина, и в ее больших глазах с расширенными зрачками горело пламя молодой любви. Наконец, тряхнув головой, она решительно произнесла:

– Благодарю вас, Лесток, на этот раз я решительно отказываюсь.

Лесток словно погас. Его одушевление исчезло. Он понял, что только пламенной волей и непоколебимой уверенностью в победе можно достигнуть победы. В голове его мелькнула смутная мысль, что если бы он сразу поддержал ее тревогу, что ее идут арестовать, он мог бы принудить к энергии эту чувственную и сонную душу. Он запомнил этот урок и через десять лет блистательно воспользовался им.

Низко поклонившись и поцеловав протянутую руку, Лесток, опустив голову, молча вышел из спальни.

– Бедный Петруша, – произнесла Елизавета, – он был такой добрый, – ее глаза наполнились слезами, – а тут крови хотят.

Она притянула к себе руку Бутурлина.

– Однако этот разбойник разогнал мой сон. Не позавтракать ли нам, Александр Борисович?

VII

Лопухина не спала. Переодевшись в легкое белое ночное платье, она в волнении переходила из комнаты в комнату. Она пробовала и заснуть, но не могла. То в ней возрождалась безумная надежда, что император выздоровеет и все будет по – прежнему, то она с ужасом представляла себе воцарение цесаревны Елизаветы или провозглашение императрицей государыни – невесты. И в том и другом случае ее блестящая карьера кончена. Елизавета ненавидела ее, как свою соперницу и как Лопухину. Долгорукие исстари враждовали с Лопухиными; кроме того, надменная княжна Екатерина тоже видела в ней соперницу, и потом – какое унижение признать своей повелительницей эту гордую девчонку!..

Ее сердце замерло, когда она услышала перед домом шум и голоса.

Через несколько минут в комнату входил Степан Васильевич – и какое счастье! – вместе с графом Рейнгольдом. Рейнгольд был заметно успокоен.

– Ну что, что? – торопливо бросилась она навстречу мужу.

– Наташа, – торжественно произнес Степан Васильевич, – император преставился.

Лопухина побледнела и осенила себя крестным знамением.

– Царство небесное. Но кто же избран? – спросила она.

– Герцогиня Курляндская, – ответил Рейнгольд. Лопухина вздохнула с облегчением и сразу повеселела.

– Наташа, мы поужинаем и поговорим, – озабоченно произнес Степан Васильевич. – Видно, спать не придется, не до того! К десяти опять в Мастерскую палату...

Роскошная столовая лопухинского дворца была уже вся залита светом; под присмотром дворецкого многочисленные слуги уставляли стол. Когда все было подано, Лопухин знаком удалил всех.

В нем, как и во всех не участвовавших непосредственно в совещании верховников, кипела досада за то, что в таком важном вопросе его обошли, что вопрос был решен помимо всех, кто по своему положению и происхождению, казалось бы, должен был иметь право голоса. Его возмущение не знало пределов.

– Как! – говорил он. – Мы ждем – архиепископы, фельдмаршал Трубецкой, Ягужинский, Сенат, генералитет, – и что же! Совещались, совещались и вышли объявить свою волю: «Быть-де на престоле герцогине Курляндской». Объявили и пригласили всех сегодня в десять часов. Да кто власть им дал? – волновался Лопухин. – Это не земский собор, это всего лишь осьмиличный совет, как назвал его архиепископ новгородский... А потом! Что они замыслили?..

Лопухина медленно, маленькими глотками пила из хрустального бокала рейнское вино.

– Ну что ж они замыслили? – спросила она.

– Про это никто толком не знает, – ответил граф Рейнгольд. – Объявив свою волю, эти господа снова ушли совещаться. Я говорил с Лестоком, он ушел с Остерманом. Андрей Иванович с ними не пошел снова на совет. Лесток сказал мне, после беседы с Остерманом, что верховники пишут какие-то пункты, чтобы ограничить власть императрицы и завладеть самим всюю властью в империи.

– И нам об этом не сказали! – ударив кулаком по столу, воскликнул Лопухин. – Дети мы, что ли! Нет, – вскакивая, продолжал он. – Анна так Анна, это лучше другого, но только не они!

– Я еще видел сейчас, уезжая из дворца, князя Шастунова, адъютанта фельдмаршала Долгорукого, – снова сказал Рейнгольд. – Он сказал мне, что теперь на Руси будут новые порядки; я спросил: какие же? – а он ответил: посвободнее.

При имени князя Шастунова Наталья Федоровна слегка покраснела.

– А вы, значит, не знаете, какие пункты составили министры? – спросила Лопухина.

– Никто этого не знает, – ответил с обидой Лопухин. – Никто не знает, что они еще готовят.

– А князь Шастунов знает? – оживленно продолжала Лопухина.

Рейнгольд бросил на нее быстрый, вопрошающий взгляд и ответил:

– Он должен знать. Он ведь ближайший адъютант фельдмаршала Долгорукого.

– Ну, и мы должны знать, – отозвалась Наталья Федоровна.

Степан Васильевич сел за стол и налил себе вина.

– Легко сказать – должны знать, – проговорил он. – Они прежде окрутят императрицу, заберут всю власть в руки, а тогда и скажут.

– Эти вести императрица должна впервые узнать не от них, – задумчиво произнесла Лопухина. – Она прежде должна узнать, что ни Сенат, ни Синод, ни генералитет не ведали того, что творили министры. Да, – с убеждением повторила Наталья Федоровна – не от них она должна узнать впервые эти вести, чтобы быть готовой и понять, что происходит здесь.

На ее чистом белом лбу прорезалась морщинка. Она сдвинула брови и сосредоточенно думала.

– Так через кого же? – воскликнул Лопухин. – Мы ничего не знаем!

– Через нас, – спокойно ответила Наталья Федоровна, – и мы узнаем.

Муж с недоумением смотрел на нее, но по улыбке, скользнувшей по губам Рейнгольда, было видно, что Рейнгольд начинает понимать ее.

– Мой брат Густав хорошо знает герцогиню, он живет в Лифляндии, – проговорил он и потом словно с гордостью добавил: – Брат был близок, очень близок к герцогине.

– Но нам надо знать их замыслы, – сказал Лопухин. Наталья Федоровна встала с места и подошла к мужу.

– А за это берусь я, – сказала она с тихим смехом. – На всякого Самсона найдется Далила...

Она положила на плечо мужа руку.

– Наташа, я не понимаю тебя, – нахмурился, произнес Степан Васильевич.

Но Рейнгольд уже понял. Перед темным, полным неожиданных опасностей будущим затихла ревность любовника. Он поднялся.

– Уже светает, надо хоть немного привести себя в порядок, – сказал он, целуя руку Лопухиной. – Ах, да, – вдруг добавил он, – завтра вам хотел представиться князь Шастунов. Он сказал мне сегодня.

Наталья Федоровна ответила ему взглядом, и в этих загоревшихся глазах он мог бы прочесть многое, если бы не был так занят собою...

За большим столом, заваленным рукописями и книгами, сидел в своем кабинете князь Дмитрий Михайлович Голицын. Князю уже было шестьдесят лет, но его энергичный взгляд, все его движения, голос были полны еще не угасшей силы. На сухом, красивом лице его, так напоминавшем лицо его двоюродного брата князя Василия Васильевича, знаменитого любимца Софьи, прозванного иностранцами «великим Голицыным», было выражение привычной работы мысли.

Среди книг, лежавших на столе, сочинений Локка, Гуго Гроция и прочих, почетное место занимало сочинение Макиавелли «*Il principe*».

По ту сторону стола в кресле сидел нестаревший, всегда изящный и красивый князь Василий Лукич, кого голштинский посланник Бассевич считал «*le plus poli et le plus aimable des Russes de son temps*».⁵

⁵ Самым вежливым и самым любезным из русских своего времени (фр.).

Разложив перед собою лист бумаги, Голицын редактировал письмо от Верховного тайного совета новоизбранной императрице и пункты, или кондиции, ограничивающие ее самодержавные права.

– Это пока, – говорил Голицын. – Это только для нее, дабы знала она, чего может ждать. Это первый шаг на пути гражданственного устройства. Тут, – он ткнул пальцем в лежащий перед ним лист, – тут мы говорим вообще.

Василий Лукич кивнул головой.

– Не забудь, – произнес он, – включить в пункты, дабы она не привозила в Москву своего Бирона.

Василий Лукич вспомнил данную им Бирону пощечину.

Дмитрий Михайлович ответил:

– Это мы скажем в инструкции тебе, когда поедете в Митаву. Вот мой проект, – он указал на толстую тетрадь, – его надо будет немедля осуществить. Только тогда можно будет сказать, что не ради личной выгоды и властолюбия действовал Верховный тайный совет. Мы взяли на свою душу будущее России, пусть же потомки не упрекнут нас. Уже и теперь говорят о чрезмерном властолюбии Долгоруких и Голицыных. Пусть говорят. Наши дела оправдывают нас.

На бледных щеках Голицына выступил румянец. Он встал и, ударяя рукой по тетради, воодушевленно продолжал:

– Кроме Верховного тайного совета будет еще шляхетская палата, камера низшего шляхетства. Эта палата будет ограждать права шляхетства от посягательств Верховного тайного совета, буде случатся таковые. Сенат станет на страже правды, независимо ни от Верховного тайного совета, ни от шляхетской палаты, а для защиты простонародья и интересов торгового люда – палата городских представителей. Вот мой проект. Исчезнет беззаконие, исчезнут фавориты и случайные люди. А там, князь, – продолжал вдохновенно Голицын, – мы освободим от рабства народ, чего хотел еще мой двоюродный брат при царевне Софии. И знаешь, Василий Лукич, – пониженным голосом, словно с благоговением, добавил Дмитрий Михайлович, – знаешь, если бы царевна София провластвовала еще десять лет, Василий Васильевич добился бы этого. Это был великий человек. И не любил его Петр за то, что он был велик. Петру Алексеевичу было бы тесно с ним вместе.

– Да, – задумчиво произнес Василий Лукич, – надлежит исправить нашу историю.

– И обессмертить себя, – закончил Голицын.

– А теперь, пока Анна не утвердила кондиций, надо все держать в тайне, – сказал Василий Лукич, – дабы мы не познали слишком скоро свою смертность.

При этой шутке вдруг мгновенная жуткая тревога, как предчувствие неизбежной гибели, сжала его сердце. Но это было одно мгновение. Он улыбнулся и сказал:

– Я умел ладить с герцогиней Курляндской.

Дмитрий Михайлович взял лист и громко прочел:

– «А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».

Он положил лист и добавил:

– А коли не согласится подписать – то тоже лишена будет короны российской.

– Боюсь, что и подпишет, да не удержим, – вздохнув, произнес Василий Лукич.

– Это уже дело фельдмаршалов, – отозвался Голицын. – Я жду сейчас Василия Петровича, – прибавил он, – дабы вписать немедля в протоколы совета кондиции.

Голицын позвонил.

– Сейчас же приведите ко мне, ежели явится, Василия Петровича, – приказал он вошедшему слуге.

Тайный советник Василий Петрович Степанов, правитель дел Верховного тайного совета, всю ночь провел вместе с верховниками, составляя под диктовку кондиции. Так как диктовали чуть ли не все разом, то Голицын, забрав черновики, приказал Степанову приехать к нему часа через два за окончательной редакцией. Степанов не заставил себя ждать.

Он расположился за отдельным столом, разложил бумаги и торопливо стал переписывать письмо. В этом письме члены Верховного тайного совета, извещая императрицу о смерти Петра II и об избрании ее императрицей, добавляли: «...а каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции», и просили, подписав их, немедля выехать в Москву.

Переписав письмо, Степанов передал его Голицыну и приступил к переписыванию вступления к кондициям. В это время Дмитрий Михайлович еще раз проглядывал самые кондиции.

Кондиции сопровождалась вступлением, в котором объявлялось о восшествии на престол и заключались собственно три» накрепчайших обещания»: сохранять и распространять православную веру; в супружество не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять и, наконец, учрежденный Верховный тайный совет, в восьми персонах, всегда содержать.

Когда Степанов кончил переписывать вступление кондиций, Голицын встал с листком в руках и, ходя по комнате, медленно и отчетливо начал диктовать самые пункты, или кондиции:

«1. Ни с кем войны не начинать.

2. Миру не заключать.

3. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.

4. В знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатым делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.

5. У шляхетства живота, имения и чести без суда не отымать.

6. Вотчины и деревни не жаловать.

7. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не производить.

8. Государственные доходы в расход не употреблять. И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать.

А буде, чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».

– Амен! – громко произнес Василий Лукич. – С Богом, Дмитрий Михайлович, подписывайся за тобой.

Дмитрий Михайлович внимательно перечел написанное Василием Петровичем и, взяв перо, торжественно, медленно, словно с благоговением, подписал письмо. За ним подписался и Василий Лукич.

– Ты оставайся у меня, Василий Лукич, и ты, Василий Петрович, – сказал Голицын. – Вон уже и светло. Хоть часок да соснуть.

– Ладно, – ответил Долгорукий. Степанов поклонился.

В эту же ночь фельдмаршалы объезжали полки, на случай тревоги проверили посты и караулы. Василия Владимировича сопровождал князь Арсений Кириллович. Все было спокойно.

VIII

Старый князь Шастунов Кирилл Арсеньевич был сыном боярина Арсения Кирилловича, друга и сподвижника князя Василия Васильевича Голицына. Он был участником всех начинавший великого Голицына и после падения Софьи разделял с ним опалу. Он вскоре умер, оставив единственного сына. В семье Шастуновых, по старой семейной традиции, старший в роде непременно звался Арсением, если отец был Кириллом, и Кириллом, если отец был Арсением. Так в роду и чередовались эти два имени.

Кирилл Арсеньевич был отмечен Петром I и в числе других стольников тогда же, как и князь Дмитрий Михайлович Голицын, был отправлен за границу. По возвращении оттуда он служил в Преображенском полку, участвовал в сражениях под Лесным и Полтавой, затем был сенатором.

Во время процесса несчастного царевича Алексея он был одним из тех, кто имел мужество отказаться подписать смертный приговор цесаревичу, за что впал в немилость и должен был уехать в свою смоленскую вотчину. К тому времени умерла его жена из рода Леонтьевых, родичей царицы Натальи Кирилловны, сам он стал прихварывать и занялся исключительно воспитанием сына Арсения.

Старый князь по своим взглядам принадлежал к числу тех вельмож, которых можно было назвать «двуликими Янусами», стоящими на рубеже двух эпох русской цивилизации – московской и европейской.

Он представлял собою сочетание старинного московского боярства и европеизма. Он не был врагом реформ, но вместе с тем не сочувствовал стремительной ломке старых заветов Петром I. Ему более по душе были реформы и замыслы Василия Голицына; они казались ему более отвечающими духу народа. Чрезмерное увлечение Петра иноземцами казалось ему вредным и обидным для русских. Он смутно чувствовал, что только гений Петра мог спаивать разнородные элементы и что с его смертью, при его наследниках, не одаренных его гением, иноземцы неминуемо захватят Россию во власть. Он отдавал должное талантам таких иноземцев, как Остерман и Миних, но все же они были чужды России, и Россия была чужда им. Сдерживаемые железной рукой Петра, они шли в поводу, послушные его воле. Но раз эта узда оборвется – чужие люди станут вершителями судеб России.

В царствование Екатерины старик был забыт, да и не имел ни малейшего желания напомнить о себе, так как давно уже от души ненавидел Меншикова. Отрок – император, вернее, его бабка царица Евдокия вспомнили его роль в процессе царевича Алексея и вызвали его ко двору.

Но он был стар, слаб, сын находился за границей, и он отписался. О нем снова забыли. Но когда старик узнал об опале Меншикова, потом о возвышении Долгоруких и предстоящей свадьбе царя, он немедленно выписал сына.

Записав сына при рождении в Преображенский полк, старик сам всецело занимался его воспитанием, пригласив в помощь француза Шарля Кордые, служившего при посольстве при резиденте Леви. Кордые занимал незначительную должность, вроде переписчика, и с радостью принял предложение.

Когда Арсению исполнилось семнадцать лет, князь отправил его, в сопровождении Кордые и молодого расторопного дворового Васьки, в Европу. Молодой князь пробыл год в Гейдельберге, потом в Сорбонне. Благодаря своему имени и богатству он был принят в самых аристократических домах Парижа и при дворе. Между прочим, в Париже он успел сблизиться с русским послом, сыном канцлера, графом Александром Гаврилычем Головкиным.

Получив приказание отца, он немедленно выехал из Парижа. Кордые не вернулся в Россию. Он остался на родине. —

Несмотря на многолетнюю разлуку, князь не долго позволил себе предаваться радостям свидания. Он торопил сына.

– Пора послужить. Поезжай, – говорил он, – род Шастуновых не должен быть сзади других. Ты не уронишь своего достоинства. Я вижу тебя. Помни одно: старайся быть первым везде и всегда. На поле битвы – будь впереди. На балах – танцуй лучше всех. Случится играть в карты или кости – денег не жалея. Шастуновы, слава Бегу, богаты. Женщины... Ну, не мне тебя учить... сам выучился в Париже. Одно говорю: денег не жалея ни на что. Меня не разоришь. Только вот тебе мой завет, единый, нерушимый: береги честь, будь верен царю. Чти в нем помазанника Божия, не посягни, храни тебя Бог, на его священные права. Богом дан он. Блуди и храни мои заветы.

Молча слушал его князь Арсений, и в его воображении живо проносились сцены из пережитого им за границей. Новые мысли, новые чувства... Последние слова отца больно отозвались в его сердце, но он не смел ничего сказать.

Старик дал ему письмо к своему старому другу фельдмаршалу князю Василию Владимировичу Долгорукому, тоже в свое время еще сильнее пострадавшему по делу 1718 года.

Тогда же он был лишен чинов, имений и сослан в Соликамскую, где и томился до дня коронации Екатерины в 1724 году, когда был возвращен из ссылки. Но лишь при вступлении ее на престол вернул себе прежнее положение. В сопровождении неизменного Васьки Арсений Кириллович отправился в Москву.

Сын не успел поговорить с отцом, да едва ли и решился бы на это, до такой степени он чувствовал себя далеким от отца, несмотря на всю свою любовь и уважение к нему. Пребывание в Париже оставило в его душе глубокий и таинственный след благодаря некоторым связям с лицами, пока для него загадочными, но, по – видимому, обладавшими странными тайнами.

Эти люди забросили в его душу новые идеи истинного христианства, свободы и братства и открыли ему широкие, манящие мистической тайной дали.

IX

Временно, до приискания соответственного помещения, молодой Шастунов поместился в Немецкой слободе у старой голландки Марты Гоопен, сдававшей свой дом под постой.

Старая Марта уже больше тридцати лет как обосновалась в слободе. Она имела там большой двухэтажный дом с садом, конюшнями и всяческими угодами. Весь нижний этаж занимала так называемая остерия, известная всем еще с молодости Петра, когда он нередко со своей компанией – Лефортом, Меншиковым, князем – кесарем Ромодановским, всешутейшим Зотовым и другими – кутили в ней.

С тех пор эту остерию не забывали. Там кутили, играли в карты офицеры, приезжали и штатские и иностранцы, принадлежащие к посольствам. Второй этаж Марта Гоопен сдавала под постой. Там нередко останавливались на несколько дней послы и резиденты до приискания помещения, свита иностранных принцев и вообще богатые люди, или ненадолго приезжающие, или не находящие себе помещения.

Шастунов, помня завет отца, не жалел денег и занял большое помещение, состоящее из нескольких комнат, с хорошей обстановкой, коврами и зеркалами.

Он вернулся домой около шести часов. Было еще темно. Но остерия в нижнем этаже была ярко освещена, и оттуда слышались шумные и оживленные голоса. У дверей на улице стояли сани, возки. Кучера и фореиторы, ежась от холода, кутались в меховые полости саней и овчинные шубы.

Посреди улицы горели костры, и около них грелись дозорные и те, кто были одеты полегче. Пригревались и несколько оборванцев из голытьбы, от которой по улицам Москвы не было прохода.

Чтобы не проходить через остерию, во избежание встречи со знакомыми, Шастунов прошел во двор. Тут он увидел большую дорожную карету, около которой суетились люди с факелами и фонарями, разгружая вещи. Очевидно, приехал новый постоялец.

Шастунов услышал французский говор. Маленький, худощавый человек, стоя у кареты, махал руками, подпрыгивал и все время кричал:

– Plus vite! Plus vite! Canailles prenes garde!..⁶

Около него стоял высокий человек и молча наблюдал за выгрузкой вещей.

Шастунов подошел и спросил по – французски высокого человека:

– Кто приехал?

– Viconte de Brissac, monsieur⁷, – вежливо, приподнимая шляпу, ответил высокий человек.

Шастунов прошел к себе. Васька встретил его и тотчас же сообщил, что в соседство приехал какой-то иностранец, француз. Васька за время пребывания барина за границей выучился понимать французскую речь и при случае мог даже объясниться.

В соседнем помещении слышалась возня. Вносили чемоданы, переставляли мебель.

Хотя Шастунов и сильно устал за весь день, но спать ему не хотелось; уже к девяти часам ему было приказано явиться с нарядом в двадцать человек в Мастерскую палату. Он видел, что даже сам фельдмаршал Долгорукий не мог скрыть некоторой тревоги за завтрашний день. Спать было некогда.

Василий сбегал в остерию за ужином и скоро вернулся в сопровождении самой дочери хозяйки, хорошенькой Берты. Берта была деятельной помощницей матери и сама прислуживала особенно почетным гостям, к числу которых принадлежал и Шастунов. Кроме того, было

⁶ Быстрее! Быстрее! Осторожней, каналы! (фр.).

⁷ Виконт де Бриссак (фр.).

заметно, что молодой офицер очень нравился ей. Берта недурно говорила по – русски, но прекрасно владела немецким языком, на котором и говорила с Шастуновым, так как ее родного языка, голландского, он не знал.

Вся раскрасневшись, Берта торопливо накрыла стол, все время искоса поглядывая на красивого постояльца, но Арсений Кириллович не замечал ее присутствия, что, по – видимому, сильно огорчало молодую голландку. Она уже привыкла, что этот красивый офицер всегда так ласково говорил и шутил с нею.

Приготовив стол, она тихо вздохнула и вышла.

Едва Шастунов, сильно проголодавшийся, принялся за еду, как в соседней комнате раздался осторожный стук в двери. Шастунов услышал коверканую французскую речь Василия.

Видимо, чрезвычайно гордясь своими познаниями во французской речи, Василий, широко осклабясь, появился на пороге.

– Что там? – спросил князь.

– Камердир мусью виконта Бриссакова приходил, – отозвался Василий. – Мусью Бриссаков хочет видеть ваше сиятельство.

Шастунов удивленно поднял брови.

– Проси же его, – приказал он. Василий моментально исчез.

В соседней комнате послышались шаги. Шастунов встал с места и пошел навстречу. На пороге показалась стройная, худошавая фигура в черном атласном камзоле, белых чулках и черных туфлях с золотыми пряжками. Белое кружевное жабо оттеняло смуглое, с резкими чертами, красивое лицо с высоким лбом, вокруг которого беспорядочно лежали темные вьющиеся волосы, не прикрытые париком. Необыкновенно большие глаза поражали своей ясностью и острым, проницательным выражением. Виконт Бриссак остановился у порога и, поклонившись, проговорил:

– Прошу извинить меня, князь, я только что приехал и, узнав, что вы мой сосед и спать не собираетесь, поспешил восстановить с вами наше мимолетное знакомство в Париже.

Он снова поклонился. Какое-то смутное воспоминание промелькнуло в уме Шастунова.

– Милости просим, виконт, – радушно ответил он, протягивая руку. – Благодарю вас за честь посещения. Поверьте, завтра или, точнее, сегодня я сам счел бы долгом приветствовать вас. Садитесь, виконт, и не обидьте меня отказом разделить со мною мой скромный ужин, вернее, завтрак...

Князь улыбнулся. Виконт поблагодарил.

– Но простите, виконт, – начал князь, – хотя ваше лицо мне очень знакомо, но боюсь сознаться в своей непростительной забывчивости.

– Это очень естественно, – улыбаясь, ответил де Бриссак. – Мы встречались с вами в слишком многолюдном обществе и не были друг другу представлены. В Версале, среди тысячи приглашенных, вы, конечно, не заметили меня. Ведь парижанин в Париже не редкость. Не правда ли, князь? Но русский князь – это уже редкость. Вот почему я запомнил вас. А потом я два раза встречал вас у шеваля Сент – Круа, – медленно, с расстановкой закончил виконт.

При имени шеваля князь вздрогнул; множество воспоминаний и впечатлений об этом загадочном человеке пронеслось в его уме.

– Да, теперь я вспоминаю, – с усилием произнес он.

– Шеваля сохранил о вас лучшие воспоминания, – продолжал виконт. – Он очень интересуется вашей судьбой.

Шастунов овладел собою и, наливая гостю вина, сказал:

– Для путешествия к нам, дорогой виконт, вы выбрали неудачное время. Вместо свадьбы вы попали на похороны...

– Да, – ответил виконт, – это действительно грустно. Этот юноша подавал так много надежд. Боюсь, что новый выбор не заменит его.

Шастунов кинул на него удивленный взгляд.

– Как, вы уже знаете? – воскликнул он.

– Что? – ответил виконт. – Что избрана императрицей курляндская вдовствующая герцогиня? Что вы в составе посольства едете к ней в Митаву и везете ей предложение короны под условием ограничения ее власти?.. Да, это мы знаем.

Широко раскрытыми глазами глядел на него Шастунов.

– Но, виконт, – наконец произнес он, – вы говорите удивительные вещи. Я еще сам не знаю о том, что вы сказали. Я через час выступаю с караулом в Мастерскую палату и про посольство в Митаву ничего не знаю. Раз вы знаете, я не стану скрывать, что существует предположение ограничить императорскую власть.

Виконт задумчиво слушал его.

– Не удивляйтесь, дорогой князь; разве у шевалье вы не видели более удивительных вещей? Незримые нити протянулись по всему миру. Идеи бескрылые, но вольные незримыми путями переносятся с места на место, как семена цветов, как их пыль, разносимая ветром.

Он замолчал и, казалось, задумался.

– У вас есть поручение от вашего правительства? – тихо спросил Шастунов, словно боясь обидеть своего гостя.

– У меня нет правительства, – спокойно ответил Бриссак. – Всемирное братство правды и свободы может иметь только одно правительство... там... – и де Бриссак указал вверх. – Итак, дорогой друг, – переменяя тон, заговорил он, – вы едете в Митаву.

Шастунов сделал протестующий жест.

– Пусть будет так, – продолжал Бриссак. – От имени шевалье я должен сказать вам одно. Не старайтесь сегодня увидеть женщину с черными глазами и берегитесь ее.

Арсений Кириллович побледнел. Он знал только одни черные глаза, и они преследовали его во сне и наяву... Глаза Лопухиной.

– Я хотел вас просить об одном, – услышал он голос виконта. – Скажите, где я могу увидеть князя Василия Лукича Долгорукого? У меня есть письмо от почтенного отца Жюбе, притом мы с ним старые знакомые. Вот еще письмо от вашего посланника в Париже его отцу, канцлеру-

Шастунов был очень взволнован, тем не менее он любезно сообщил виконту, что лучше всего ему обратиться к резиденту французского двора Маньяну и вместе с ним поехать завтра в Мастерскую палату, где он найдет и князя Василия Лукича, и графа Головкина.

Виконт поблагодарил и, вставая, добавил:

– Нам еще о многом надо будет переговорить, дорогой князь. А теперь, до свидания. – И он ушел, оставив Арсения Кирилловича взволнованным и потрясенным его загадочными предупреждениями и необъяснимой осведомленностью.

Не успел виконт переступить порог, как Василий принес князю записку.

– Берегитесь черных глаз! – крикнул Бриссак, увидя записку, и с поклоном исчез.

Записка была от Лопухиной. Она звала князя непременно зайти сегодня. Шастунов несколько раз перечел эту записку, потом поцеловал ее и спрятал на груди.

Х

Было пора. Князь Шастунов переоделся. Но все время его не покидала смутная тревога, вызванная словами Бриссака... В бытность в Париже Арсений Кириллович познакомился на одном из придворных празднеств с шевалье Сент – Круа. Этот шевалье пользовался странной репутацией. Не то чернокнижника, не то колдуна. Почему-то шевалье обратил на молодого князя внимание. Князя тоже что-то странно привлекало в этом кавалере, всегда холодном, сдержанном, казалось, чуждом всем страстям. Они сблизились. Осторожный и сдержанный, Сент – Круа мало – помалу овладел волей молодого князя. Он говорил ему о всемирном братском союзе, цель которого – свобода народов и борьба со всяким произволом и деспотизмом. Он говорил о равенстве людей и сопровождал свои слова странными и зловещими предсказаниями. Часто среди веселых празднеств в Версале он становился мрачен и задумчив.

– Юный друг, – говорил он князю, – глядите на этих людей, таких гордых, прекрасных, считающих себя выше всех, как будто весь мир создан для их удовольствия. Их дети, их внуки кровью расплатятся за них...

Несколько раз Шастунов бывал у шевалье. Однажды, еще до получения от отца приказа возвращаться в Россию, Шастунов был у него. На прощанье шевалье, пожимая руку, сказал:

– Вы завтра или послезавтра выезжаете в Россию на бракосочетание вашего императора. Если б я мог, я задержал бы вас, вы поспеете не к свадьбе. Вас стережет судьба... Но если что возможно будет сделать – мы сделаем. Жаль, что вы уезжаете так рано. Еще немного, и вы познали бы свет истины.

– Но я не собираюсь ехать, – ответил Арсений Кириллович, непонятно смущенный словами Сент – Круа.

Шевалье улыбнулся.

– Но, однако, вы уедете, – проговорил он.

На следующий день Шастунов получил письмо от отца. Он был поражен. Он вспомнил предсказанную шевалье смерть молодой красавицы маркизы д'Арвильи, вспомнил, как на одном балу, в игре в фанты, когда шевалье Должен был изображать пророка, он предсказал молодому графу де Ласси смерть от лисицы... Через неделю граф на охоте за лисицей упал с лошади и разбил себе голову... О предсказаниях шевалье ходили целые легенды; в обществе его несколько боялись, потому что его предсказания всегда были зловещи.

А между тем все слова его дышали благородной жаждой свободы и глубоко западали в душу Арсения Кирилловича; все его поступки отличались высокой добротой.

Накануне отъезда князь пришел попрощаться к шевалье.

– Итак, вы уезжаете, – сказал Сент – Круа. – Ну, что ж! Судьба ведет вас вперед. В трудную минуту вашей жизни я постараюсь вас предостеречь через кого-нибудь и помочь вам. Вы молоды и потому самонадеянны. Но не пренебрегайте предостережениями, полученными от меня. Может быть, мы еще свидимся. Помните одно: я буду следить за вашей судьбой.

Взволнованный и искренно тронутый, Шастунов поблагодарил шевалье и на другой день рано утром выехал на родину.

Все это вспомнил Арсений Кириллович, и предупреждения Бриссака принимали в его глазах особое значение. Но бояться черных глаз! Этих глаз, полных сладостных обещаний!.. Глаз, очаровавших его, смотревших на него с такой томной негой...

Он вынул письмо и еще раз прижал его к губам.

Он поехал в полк и оттуда с назначенным отрядом, в состав которого вошел еще офицер, прапорщик Алеша Макшеев, к девяти часам был уже на месте назначения, в Мастерской палате в Кремле, где обычно происходили заседания Верховного тайного совета.

Огромные залы кремлевского дворца были переполнены народом. Верховники, чтобы по возможности придать своему решению характер общего избрания, пригласили не только высших сановников, но и простое шляхетство, то есть служилое дворянство, до чина бригадира.

Все с нетерпением ждали появления верховников. Глухое раздражение чувствовалось в толпе ожидающих. Высшие чины и знатные люди были обижены поведением верховников, третье сословие – шляхетство – считало себя вправе тоже выразить свое мнение при решении такого важного вопроса. Потом, несмотря на строгую тайну, соблюдаемую верховниками, уже сделалось известно, что верховники что-то затеяли к перемене государственного строя. Распространению этих слухов способствовал Ягужинский, конечно, имевший сведения от своего тестя – канцлера. И духовенство, и генералитет, и шляхетство – все боялись, что при дележе самодержавной власти они будут обделены, и при этом чувствовали себя совершенно беспомощными, во власти Верховного тайного совета. По приказанию фельдмаршалов внутренние покои заняли караул лейб – регимента и рота кавалергардов. Вокруг дворца тесным кольцом стояли преображенцы и семеновцы. Собравшиеся во дворце чувствовали себя под стражей. В то же время среди верховников происходили некоторые разногласия. Князь Дмитрий Михайлович настаивал на том, чтобы всем собравшимся объявить вкратце кондиции и сообщить о дальнейшем их развитии, согласно выработанному им проекту, Голицын имел в виду особенно шляхетство.

– Нельзя скрывать это дело, – говорил он, – пусть шляхетство видит, что не о своей выгоде заботимся мы. Скрывая, мы умножим дурные и тревожные слухи. Мы наживем себе врагов вместо того, чтобы найти союзников.

Против этого возражал Василий Лукич. Он указывал на то, что шляхетство может сразу представить свои требования и не согласиться на предложенные.

– Теперь не время обсуждать все подробности, – закончил он. – Будет время, когда мы уже заручимся согласием государыни обсудить все вместе со шляхетством. Раз будет согласие государыни, никто не посмеет спорить с нами.

Это мнение одержало верх.

Фельдмаршалы решительно объявили, что они ручаются за полное спокойствие Москвы.

Князь Шастунов, расставив во внутренних покоях посты, из любопытства прошелся по залам. Издали он увидел французского резидента Маньяна в шитом золотом камзоле и рядом с ним темную фигуру Бриссака. Бриссак приветствовал его любезной улыбкой. Около них стоял генерал Кейт, Яков Вадимович, как его звали, шотландец по происхождению. Навстречу князю попался капитан Сумароков. Он дружески пожал руку Арсению Кирилловичу. Но по его лицу Шастунов заметил, что он чем-то расстроен. Сумароков был действительно расстроен. Он был обижен тем, что командование караулом лейб – регимента в такой ответственный день было поручено не ему, а младшему чином Шастунову. В этом Сумароков не без основания видел некоторые признаки недоверия. Он сопоставил с этим пренебрежительно – недоверчивое отношение верховников лейб – регимента. А ведь он был адъютантом Ягужинского. Шастунов тоже был немного удивлен этим.

Тяжелой поступью через залу проходил высокий генерал в сопровождении молодого гвардейского капитана.

– Это князь Юсупов, подполковник Преображенского полка, Григорий Дмитриевич, – торопливо произнес Сумароков.

Бледное, решительное выражение лица князя Юсупова с черными, небольшими острыми глазами, слегка выдающимися скулами поразило Шастунова. Он с невольным любопытством следил за этой высокой фигурой. Князь Юсупов своей тяжелой походкой прямо шел в залу, где совещались верховники. За ним последовал и адъютант. К удивлению Шастунова, перед князем Юсуповым часовые, поставленные у дверей, брали на караул, и он беспрепятственно прошел во внутренние покои.

– Все, все за них, – со сдержанной злобой произнес Сумароков, следя глазами за уходящим Юсуповым.

– Разве дурно то, что они делают? – произнес князь, в упор смотря на Сумарокова.

На лице Сумарокова появилась судорожная улыбка. Он махнул рукой и торопливо отошел прочь. Тревожное настроение в зале росло.

Наконец верховники вышли к собравшимся. Глубокое молчание встретило их появление.

Князь Шастунов вышел в переднюю залу, согласно полученным им раньше инструкциям. Он остановился у большого входа, через который ему велено было никого не пропускать. Это был единственный вход, широкий и свободный, через который могли бы войти солдаты, и этот вход на всякий случай было приказано особенно охранять Шастунову. Очевидно, верховники не чувствовали себя очень спокойными. Они ожидали, быть может, какой-нибудь попытки со стороны цесаревны Елизаветы или их других врагов, как князь Черкасский или фельдмаршал князь Трубецкой. Но все было тихо.

Шастунов сел в кресло, чувствуя себя страшно усталым. Он столько испытал за эти сутки, что просто голова шла кругом. Он незаметно задремал. Прошло около получаса, как его разбудили громкие крики, доносившиеся из внутренних зал:

– Виват императрица Анна Иоанновна!

Он вскочил с места.

Крики затихли, их заменили оживленные голоса, движение, шум шагов. Присутствующие расходились с оживленными разговорами, обмениваясь впечатлениями.

Князь Шастунов заметил, что все были разочарованы и недовольны. И они имели основание быть недовольными. Повторилось то же, что было ночью. Почти в тех же выражениях, как и ночью, только перед большим количеством чинов, Дмитрий Михайлович объявил о поручении престола герцогине Курляндской и просил на то согласия собрания. Собравшиеся выразили его криками:

– Виват императрица Анна Иоанновна!

Но о том, о чем они смутно знали и что надеялись услышать, – о новых условиях правления, – не было сказано ни одного слова...

XI

В душе Шастунова было одно желание – поскорее вырваться и лететь к Лопухиной. Дворцовые залы опустели. Все собравшиеся уже разъехались. Семеновский и Преображенский полки отпущены домой, отпущена была и рота кавалергардов под начальством капрала Чаплыгина, потом последовал приказ идти домой и наряду лейб – регимен – та, но остаться прапорщику Макшееву и Шастунову.

Уже стемнело, зажгли огни, а они все ждали. Макшеев и Шастунов не знали, чем убить время, и оба не понимали, зачем задержали их. По их мнению, им нечего было делать. Но скоро их скука сменилась любопытством. Уже со двора вернули уезжавшего бригадира Палибина, заведовавшего почтами, что очень заинтересовало молодых людей. Палибин прошел в залу, где заседали верховники. Затем оттуда послышались нетерпеливые звонки и показался Василий Петрович, громко требовавший курьеров. Дежурившие в соседней зале, по приказанию совета, как обычно, курьеры бросились на его зов. Степанов с пачкой пакетов в руке торопливо говорил:

– Это в Коллегию иностранных дел – ответ немедля, это – по полкам, это – по заставам...

Он совал пакеты в руки курьерам.

– Духом, не медлить ни минуты.

– Ой, что-то будет, – со вздохом произнес Макшеев. – Когда-то Бог приведет выспаться!

Шастунов улыбнулся.

Сын богатейшего тульского дворянина Макшеев вел безалаберный образ жизни: карты, лошади, женщины наполняли его существование. Был он смел, честен и благороден, но слыл в офицерской компании забубённой головушкой. Вторую неделю Шастунов был в полку и почти каждый день слышал, как Макшеев говорил:

– Когда-то Бог приведет выспаться!

Но, видно, мечта юного прапорщика отходила все дальше.

Заседание кончилось. Молодые офицеры вскочили с места и вытянулись, когда показались фигуры фельдмаршалов, а за ними и остальные члены Верховного тайного совета, усталые, взволнованные и торжествующие.

Фельдмаршал Василий Владимирович остановился около офицеров и своим отрывистым, резким голосом коротко приказал:

– Вы оба в ночь едете с князем Василь Лукичом в Митаву. В одиннадцать часов у Яузской заставы. Ни звука об этом никому. Тут ваша судьба, ваши головы и... Вы, поняли? Ни звука! – сурово добавил он, проходя дальше.

– В одиннадцать часов у Яузской заставы, – повторил, не останавливаясь, князь Василий Лукич. – Отдохните и соберитесь.

«Колдун, колдун», – пронеслось в голове Шастунова. Он вспомнил слова Бриссака. У него замерло сердце. А черные глаза?

Лицо Макшеева вытянулось.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – тихо проговорил он вслед верховникам. – Когда же выспаться! Ну, делать нечего, князь. Поедем в остерию. Уже девятый час, долго ли до одиннадцати. Ты, кстати, и живешь там...

Но князь Шастунов отрицательно покачал головой.

– Мне надо еще кое – кого спроведать, – возразил он.

Макшеев лукаво подмигнул ему.

– Ну, ладно, – сказал он, – однако ты, брат, ловкий. Кажись, только десять дней в Москве, а уж... Ну, как знаешь. Я слетаю домой, а оттуда в остерию. Мимо дома, чай, не проедешь; значит, свидимся.

– Да, да, я заеду домой, – рассеянно ответил Шастунов.

Они вышли вместе.

Был ясный морозный вечер. Охваченный разнородными чувствами, Арсений Кириллович ехал по улицам Москвы. Было пустынно. Последние дни Шастунову действительно казались сном. Странно, сказочно вдруг сложилась его судьба. Он ехал в Россию, готовый к обычной карьере знатного и богатого гвардейца, и вдруг сразу попал в кипень событий, необычайных для России событий, могущих повернуть самодержавную Русь на новый путь, светлый и свободный, на тот путь, о котором уже смутно мечтала Франция, о чем говорил ему Сент – Круа.

Шастунов чувствовал гордость, что судьба сделала его участником великого исторического события. К этому примешалось еще чувство любви. Любовь вспыхнула в нем внезапно. Первая любовь! Катание, две – три встречи, взгляд – и все было кончено для его сердца. Какое-то неизъяснимое очарование, какая-то непонятная власть притягивала к Лопухиной всех, кто только приближался к ней. Она обладала какими-то чарами, против которых никто не мог устоять. Кому удавалось протанцевать с ней – уже считал себя счастливым.

– Она колдунья! – сказала про нее один раз цесаревна Елизавета после одного придворного бала, не в силах сдержать своей ревнивой злобы.

И эта женщина, прекраснейшая из всех им виденных досель, царица красоты, вдруг обратила внимание на него, молодого, никому не известного офицера. Но он будет достоин ее! При новом правлении, где не будет случайных людей, где каждому широко будет открыто поприще славы, где можно выдвинуться не красивым лицом, не успехами на скользких полах дворцовых зал, а истинными достоинствами, он сумеет показать себя. Весь мир открыт перед ним... И когда он добьется славы, могущества, власти – он возьмет ее, эту гордую красавицу...

Но мгновениями какое-то тайное ощущение, как печальное предчувствие, шевелилось в его душе. В ушах его словно раздавался голос Бриссака: «Избегайте сегодня встречи... черные глаза... вы поедете в Митаву...»

Ну что ж, это случайность, он заранее узнал, что собирается в Митаву посольство. Может быть, он еще в дороге, не доезжая Москвы, получил эту весть от Маньяна. Кто знает, в качестве кого он явился в Россию?.. А черные глаза... Мистификация... Он просто хотел пошутить... и притом из ста молодых гвардейских офицеров о девяносто пяти можно было сказать приблизительно то же без особой опасности ошибиться. Почти всякий мечтал о чьих-нибудь глазах и не сегодня, так завтра собирался на свидание...

И снова мысли о любви, счастье и славе наполнили душу молодого князя. И с этими мыслями, без робости и смущения, он вошел в дом Лопухиных. При его молодости он даже не останавливался на мысли, что было странно и необычно посланное ему Лопухиной приглашение. Она коротко написала ему, что, может быть, мужу по делам придется уехать, конечно, вместе с нею, в Петербург и перед отъездом она хотела бы повидать его.

XII

Лопухина приняла его в той же маленькой гостиной, где накануне принимала Левенвольде. Так же горели свечи под красными шелковыми абажурами, наполняя гостиную красным светом. Так же нежной лаской мерцали ее прекрасные глаза.

– Как мне благодарить вас, дорогой князь, – начала она по – французски в то время, как Арсений Кириллович целовал ее руку. – У меня так мало друзей, с которыми я бы хотела повидаться перед отъездом.

– Благодарю, – взволнованно ответил князь. – Вы не ошибаетесь. Если возможна дружба между мужчиной и женщиной – то я ваш друг.

Наталья Федоровна с видимым удовольствием глядела на своего молодого гостя. Его красивое, благородное лицо, его манеры, мужественная фигура, видимо, производили на нее впечатление.

С первой встречи этот чистый юноша волновал ее. Она невольно сравнивала с ним Рейнгольда – такого уже опытного, так много пережившего. А она сама...

– Сядьте здесь, около меня, – с легким дрожаньем в голосе произнесла она, указывая на табурет, где накануне сидел Левенвольде. – Скажите, вы очень устали, вы не спали ночь? Вы, должно быть, сердитесь на меня?

– Нет, сударыня, – серьезно ответил Шастунов. – Я глубоко благодарен вам за то, что вы вспомнили обо мне. Долг перед отечеством не может быть в тягость, а видеть вас, видеть вас... – он взволнованно замолчал.

– А видеть меня? – тихо спросила Лопухина, низко склоняясь к нему.

Аромат ее духов охватил Шастунова. Пышные кольца ее волос слегка коснулись его щеки.

– А видеть вас, – глухо произнес он, – награда, которой я еще не заслужил.

Он порывисто схватил ее за руки.

– Тсс! – произнесла она, освобождая руки. – Вы завоюете себе все награды... со временем.

И ее взгляд обжег Шастунова.

– Расскажите лучше пока, что происходит? – вкрадчивым голосом продолжала она. – Я живу как в тюрьме. Муж вечно в хлопотах, никто меня не навещает. Я все одна и одна. Муж считает меня слишком глупой, чтобы серьезно говорить со мной. А между тем какие события, какие события! Она встала.

– Нет, клянусь вам, если бы все женщины чувствовали, как я, мы пошли бы впереди вас, мужчин. Пора положить этому конец. Разве мы действительно рабы? Разве мы не имеем права голоса? Мы повиновались грубой женщине с ее фаворитами, мы повиновались выскочке, пирожнику, мы повиновались ребенку с его разнузданными любимцами! Нам довольно этого! Но ведь я только женщина и, может быть, очень глупа, – упавшим голосом закончила она.

Шастунов с восторгом смотрел на нее.

– Мужчины уже решили это, – произнес он, вставая. – Слепы те, которые не посвящают в это женщин. Вы правы, мы намучились. Засыпая, мы не знаем, кем мы проснемся. Бог сжалился над нами. Смерть отрока – императора раскрыла нам ворота на иной, светлый путь. Герцогиня Курляндская не может не согласиться на кондиции.

– О, да, – бледнея, произнесла Лопухина.

Взволнованный Шастунов продолжал:

– Да, мы возьем сегодня к ней эти кондиции. Она должна согласиться, иначе ей не видать престола. Отныне не может она своей властью объявить гибельной войны или заключить

постыдный мир, не может без суда, по своему произволу, никого карать или налагать подати и не привезет с собой Бирона. А дальше... дальше мы увидим...

Князь вдруг опомнился. Он выдал тайну. Он сказал все, что под страхом смертной казни не смел, не должен был говорить. И мгновенно черное облако воспоминания о Бриссаке закрыло его душу.

Он взглянул на Лопухину. Она неподвижно стояла, прислонясь спиной к шифоньеру в углу комнаты, и в ее широко открытых глазах выражался и восторг, и страданье, и что-то такое, от чего сладко заняло сердце Шастунова; так же мгновенно, как и появилось, исчезло воспоминание о Бриссаке.

Он сделал к ней шаг.

– О, зачем вы это сказали! – тихо произнесла она, закрывая лицо руками. – Не надо этого, не надо!..

– Но ведь это только вам, – дрогнувшим голосом произнес Арсений Кириллович. – Не упрекайте меня. Это тайна, которую я выдал вам. Мы поедем сегодня в одиннадцать часов с князем Василием Лукичом в Митаву. Вы теперь все знаете!.. Я не смел этого говорить, но я должен ехать сейчас, и я хочу, чтобы вы знали, как я люблю вас! И если бы мне сказали, что за одно мгновение вашей любви я заплачу головой, я бы за это мгновение радостно положил голову на плаху!.. Я люблю вас... и завоюю вас!.. Князь весь дрожал, голос его прерывался.

– И вы разделите со мной мою судьбу!..

Она стояла неподвижно, не открывая лица. Он тихо подошел к ней и взял ее за руки. С тоской и мольбою взглянула она на него.

– Не надо было говорить, – произнесла она едва слышно, тихо склоняясь головой к нему на грудь.

– Наташа! – воскликнул он, покрывая поцелуями ее мягкие волосы, шею, лицо.

– Оставь, – слабо шептала она, – оставь, Я дурная, я...

Но он прижался губами к ее губам. Далеко, в тумане, исчезал и расплывался образ Рейнгольда. Ах, зачем не понял он ее последнего взгляда! Зачем искушал ее! Анна, самодержавие, не все ли равно! Прекрасное, вдохновенное лицо юноши, говорившего о любви и свободе, заслоняло весь мир. Последняя мысль – «предательница» – вспыхнула и погасла под его жадными молодыми поцелуями...

Гордый и счастливый, не помня себя от счастья и восторга, возвращался Шастунов домой, чтобы наскоро захватить несложный багаж и лететь к Яузским воротам, казавшимся ему воротами счастья.

«Lasciate ogni speranza!»⁸

Но на воротах не было этой роковой надписи...

И в то время как он, счастливый, как только может быть счастлив двадцатилетний юноша, впервые познавший восторг любви, спешил к неведомой судьбе, – она, его первая любовь, знаменитая красавица, чей один взгляд делал людей счастливыми, словно раненная насмерть, металась по своей красной гостиной.

Ломая прекрасные руки, с распущенными волосами она бегала по комнате, громко повторяя: предательница, предательница!

Время шло. Она все узнала. Она понимала, какое огромное значение имело это тайное посольство. Знала, что судьба ее самой, ее сына, мужа, Рейнгольда и многих других, связанных с ней узами родства и дружбы, зависела от исхода начавшейся игры. От нее ждут... Она должна... О, если бы она была свободна! Она пошла бы сейчас за ним. Ее страстной, изменчи-

⁸ «Оставьте надежду!»(лат.).

вой, чисто женской природе были свойственны такие безумные увлечения и порывы. Их много было в ее жизни, и все они были искренни, глубоки, хотя кратковременны.

Она чувствовала, что во имя спасения близких она должна предупредить их, но в ее мятежную душу, как отравленная стрела, впивалась мысль, что этим она погубит этого юношу, с такой беззаветностью положившего к ее ногам свою честь и жизнь, что эта прекрасная голова, только что покоившаяся на ее груди, может лечь на плаху.

– Зачем! Зачем! – твердила она, ломая руки.

Сдержанный и осторожный граф Рейнгольд, тоже присутствовавший утром в кремлевском дворце, сумел узнать через графа Ягужинского общие сведения о кондициях. К тому времени и сам Ягужинский еще не успел узнать всех подробностей, так как уехал домой, не дождавшись окончания собрания верховников, рассчитывая узнать подробности несколько позднее у графа Головкина.

Он окончательно был взбешен. Он успел узнать, что в число членов Верховного тайного совета были избраны оба фельдмаршала, Долгорукий и Голицын, а он вновь обойден. Верховники нажили себе смертного врага.

Так как содержание кондиций было приблизительно известно Рейнгольду, он на всякий случай заготовил письмо к своему лифляндскому брату Густаву. Но он не знал ничего ни о посольстве, ни о том, что эти кондиции посольство везло к герцогине, ни о решении верховников взять назад избрание, если герцогиня не согласится подписать их.

Однако Рейнгольд оставался во дворце до конца и видел, что князь Шастунов направился к Арбату, где стоял Дворец Лопухиных. Удостоверившись в том, что молодой князь отправился к Лопухиной на приглашение, написанное ею по его совету, тайком от мужа, бывший курляндский резидент решил, что у него есть еще время, и, не ощущая никакой ревности, спокойно отправился домой, или, лучше сказать, поужинать.

Он верно рассчитал время. Когда он, подкрепившись, пришел к Лопухиной, князя уже не было.

Он застал Наталью Федоровну уже овладевшей собой. Она была спокойна, только чрезвычайно бледна, и в ее глазах Рейнгольд не увидел обычного привета любви. Впрочем, теперь он этим совершенно не интересовался. Теперь он был тем, то есть казался тем, чем был на самом деле: сухим, трусливым и себялюбивым придворным, боящимся за свою дальнейшую дворцовую карьеру.

– Ну, что? – было его первым вопросом, когда он рассеянно поцеловал руку Натальи Федоровны.

– Я боюсь, милый Рейнгольд, – слегка насмешливо отозвалась Лопухина, – что вы опоздаете...

На лице Рейнгольда отразился ужас.

– Опоздаю? Я? Как? – растерянно произнес он.

– Сегодня, в одиннадцать часов, князь Василий Лукич везет в Митаву кондиции для подписи новой императрице, – холодно сказала Лопухина. – А мой дворецкий сейчас сообщил мне, что на всех улицах, ведущих к заставам, поставлены рогатки и стоят караулы.

И хотя Лопухина знала, что неудача Рейнгольда есть ее собственная неудача, она с непоследовательностью женщины глядела с нескрываемым злорадством на его растерянное, бледное лицо.

Он, казалось, сразу не понял ее слов.

– Но ведь мы тогда погибли! – воскликнул он наконец.

– Я думаю, – спокойно и холодно продолжала Лопухина, – что надо просто ждать дальнейших событий...

– Вы с ума сошли! – горячо воскликнул Рейнгольд.

– Должно быть, – с загадочной улыбкой произнесла она.

– Кондиции мне отчасти известны, – медленно и задумчиво начал Рейнгольд. – Вы знаете еще что-нибудь? – спросил он.

– Кондиции лишают новую императрицу всякой власти, и если она их не подпишет, то ее не пустят в Москву, – , словно со злобной радостью говорила Лопухина. – Еще я знаю, что приятеля вашего брата, этого берейтора или конюшенного офицера, – не знаю точно, кто он, – Бирона, вообще ни в каком случае не пустят в Россию. Он может оставаться в Митаве при конюшнях ее высочества.

Рейнгольд побледнел еще больше. Как ни был он озабочен своим положением, от него не ускользнул странный тон Лопухиной. В его глазах сверкнул ревнивый огонек.

– Однако, – с раздражением произнес он, – вы словно рады.

Но его ревнивое раздражение происходило не от чувства любви, а от опасения, что, благодаря чуждому влиянию, из его рук ускользает сильная, ловкая, послушная союзница.

– Я рада? – с расстановкой произнесла Лопухина. – Я рада? Чему? Ах, – добавила она отрывисто, – оставьте меня в покое с этими интригами! Какое, в конце концов, мне дело до всего этого? Вы, мужчины, справляйтесь сами, как знаете!.. Какую роль вы готовите мне, Рейнгольд, и что я значу для вас? – Она гневно встала с загоревшимися глазами. – Еще вчера вы мечтали, что я могу сделаться любовницей императора! Нет, нет, не отрицайте этого, – почти закричала она, заметя его протестующий жест. – О, я знаю вас, вы были бы счастливы, если бы случилось это... А теперь чего хотите вы от меня? Чтобы я за нужные вам тайны продавала свою красоту?.. Довольно, довольно, Рейнгольд! Я устала, я не хочу больше ничего слушать. Справляйтесь сам, как знаете.

Ошеломленный сперва, Рейнгольд мало – помалу приходил в себя. Он уже привык к гневным вспышкам и неожиданным капризам своей своенравной любовницы, но был твердо уверен в своей власти над ней. Теперь же, занятый исключительно мыслью о своем положении, он мало вникал в сущность ее слов.

– Вы не знаете, где они выедут? – спросил он.

– Через Яузскую заставу, – быстро, невольно ответила Лопухина и сейчас же крикнула: – Я устала, устала, понимаете вы это!

– В одиннадцать часов, через Яузскую заставу, – вставая, проговорил Рейнгольд. – Я теперь знаю все, что мне нужно. Я бегу. А вы, дорогая, постарайтесь успокоиться. Завтра мы будем в лучшем настроении, не правда ли? – закончил он, стараясь придать нежность своему голосу.

Она молча протянула ему руку. Он нежно и почтительно поцеловал ее и поспешно вышел. Долго неподвижным, загадочным взором она смотрела ему вслед.

Когда глубокой ночью Степан Васильевич вернулся домой со своего дежурства у праха императора, он застал ее тихо сидящей в детской над кроваткой своего шестилетнего сына Иванушки, ставшего тринадцать лет спустя ее невольным палачом. Глаза ее были полны слез.

ХІІІ

Не прошло и часа с отъезда заведующего почтами Палибина и курьеров по полкам с приказаниями Верховного тайного совета, как уже от полков Вятского, Копорского и Бутырского один за другим выходили небольшие отряды под командой унтер – офицеров и становились постами на всех улицах, ведущих к заставам. Остальные солдаты были спешно посажены у застав на пароконные сани и отправлены по всем трактам, так как по приказу Верховного совета Москва должна быть оцеплена со всех сторон на расстоянии тридцати верст. Начальникам постов было отдано распоряжение пропускать из Москвы только лиц, снабженных паспортами: от Верховного совета. В Ямской приказ немедленно было передано Палибиным приказание задержать всю почту и никому не выдавать ни лошадей, ни подорожных. По всем ямщицким дворам, «ямам», было разослано запрещение сдавать лошадей.

Был небольшой мороз, но дул сильный, пронзительный ветер. Небо было покрыто облаками.

У Яузской заставы, близ маленькой караулки, расположился пикет в четыре человека с унтер – офицером Копорского полка. Солдаты по очереди ходили греться в караулку. На тракте бесшумно оставались двое. На краю дороги был разложен небольшой костер, у которого они грелись. Захватив под мышки тяжелые ружья, засунув руки в рукава своих легких кафтанов, в валенках, солдаты угрюмо переминались с ноги на ногу. Вдруг из темноты, в круге света, бросаемого костром, появилась фигура человека.

– Стой, кто идет? – послышался голос солдата.

Сурового вида старый солдат, взяв ружье на изготовку, стал перед костром. В ответ ему раздался старческий кашель, и дребезжащий голос ответил:

– Спаси Господи, милостивец. Пропусти, родненький.

Перед солдатом стоял сгорбленный маленький старичок с длинной палкой в руках, на которую он тяжело опирался.

– Пропусти, родненький, – кашляя, продолжал старик. – Только бы до деревни добраться.

Старый солдат стоял в недоумении. Был приказ не пропускать подвод, а насчет пеших крестьян ничего не сказано. На старике был рваный, холодный зипунишко. Голову его обматывали какие-то тряпки. Он ежился от холода и жалобно повторял:

– Пусти, Христа ради, внучата ждут. Дочь больная...

– Позови-ка, Митяй, унтера, – произнес солдат, обращаясь к товарищу.

Митяй скрылся в караулке. Через минуту появился еще молодой, бравый унтер.

– Что? – строго спросил он, оглядывая подозрительным взглядом старика. —

Старый солдат объяснил ему, в чем дело.

– Ты откуда, дедушка? – спросил унтер.

– Из Черной Грязи, милостивец, – ответил, кланяясь, старик.

– Что ж недобрая понесла тебя так поздно? – продолжал унтер.

– По добрым людям ходил, милостивец, – ответил старик. – Дома, чай, есть нечего, зять – от помер. Дочь занедужилась... Внучата махонькие... о какие! – и старец показал на аршин от земли.

Унтер стоял в недоумении.

– Так ты говоришь – из Черной Грязи? – спросил он.

– Так, так, милостивец, – ответил старик, – верста от Черной Грязи, чай, знаешь, деревня Кузькина.

– Ишь как, – проговорил унтер, почесывая затылок.

– Не побрезгай, милостивец, – произнес старик, подвигаясь к унтеру, и протянул ему руку. В ней звякнули монеты.

– Ну, ну, дедушка, – оттолкнул его руку унтер, сразу вдруг почувствовавший доверие к старику. – Может, обогреться хочешь?

– Какой там, милостивец, – добреду, ждут – от меня, – ответил старик.

– Ну, ладно, ползи себе, – махнул рукой унтер.

– Спасибо, спасибо, милостивец, так я пойду, – закашлявшись, произнес старик.

– С Богом!

Старик перекрестился, и, тяжело опираясь на палку, двинулся дальше. Скоро он исчез в темноте.

Красной точкой сверкал вдали огонек костра. Старик выпрямился, подтянулся и легким, быстрым шагом скорохода продолжал свой путь. Он осторожно нащупал за пазухой пакет и глубоко, с облегчением вздохнул. Он шел легким, эластичным шагом так скоро, как бежит рысцой крестьянская лошадка.

Не доходя верст шести до Черной Грязи, он свернул в сторону, по направлению к селу Черкизову, – оттуда был объездной путь ломимо тракта, минуя Черную Грязь...

Не прошло и получаса после его прохода, как в Яузские ворота влетела, гремя бубенцами, тройка, запряженная сытыми, резвыми конями. В тройке сидел человек, закутавшийся в лисью шубу. Рядом с ямщиком на облучке сидел, видимо, слуга.

– Стой! – преградили ему путь солдаты.

Лихой ямщик разом осадил тройку. На дорогу выскочил унтер.

– Кто едет? – спросил он, выстраивая солдат поперек дороги.

– От Верховного тайного совета, – ответил незнакомец, вынимая из кармана бумаги. – Только скорей, за мной едут, я курьер. Не задерживайте меня.

С бумагами в руках унтер вошел в караулку.

Хотя он и умел читать, но ни слова не мог разобрать из написанного. Однако он увидел привешенную печать с двуглавым орлом и смутился.

«Ну, ладно, – подумал унтер, – в Черной Грязи – ямской стан, там разберут...»

Инструкции, данные ему из полка, были неточны и неопределенны. Верховный тайный совет вместо того, чтобы категорически распорядиться никого не пропускать военным постам и представлять всех, стремящихся проехать, в ближайший почтовый пункт, предписал военным постам пропускать всех с паспортом Верховного тайного совета. Конечно, хотя выбрали в начальники постов исключительно грамотных унтеров и сержантов, но они не могли и не умели отличить паспорта тайного совета от простой бумажонки с нацепленной на ней печатью.

Унтер пропустил незнакомца.

Когда вдали замер звон бубенчиков, он недоуменно развел руками, – разберись-де тут, кого пропускать. Он вошел в караулку и от недоумения, чтобы не рассмеяться, хватил стаканчик водки. На душе его полегчало. С ним сидел за столом старый солдат, сменившийся с поста, и они, попивая водку, вели дружественную беседу. – Экая проклятая служба, – говорил унтер, – того и гляди, где в каземате сгнойт. Гвардии что? Им бы золотые галуны да парады. Все перекинулись в гвардию... А мы при чем? Так ли, Афанасий?

– Верно, – подтвердил старый Афанасий. – Мерзни тут, а что толку? Был я с Петром Алексеевичем в Прутском походе. Что ж думаешь, такого отца родного не сыщешь... А ныне смотри, последние люди стали... И понять не можно, – продолжал Афанасий, – разве не едино, что гвардия, что армия? Всем помирать придется. Коли что, война али что другое, равно умираем... Не по – божески это...

Звон бубенцов, стук копыт и крики прервали их разговор. Они торопливо выбежали на тракт. По тракту неся целый поезд. Впереди скакали верхами два вахмистра. За ними неслись тройки. Вахмистры осадили у караулки коней, и за ними остановился длинный ряд троек и пароконных саней. Молодой офицер в форме лейб – регимента выскочил из задней тройки и подбежал к караулке. Увидя унтера, он закричал:

– Вот пропуск. Сами господа члены Верховного тайного совета едут. Вели своей команде пропустить.

В первой тройке, кутаясь в шубы, сидели Василий Лукич, младший брат фельдмаршала, сенатор Михаил Михайлович Голицын и предложенный графом Головкиным третий депутат, генерал Михаил Иванович Леонтьев. В следующей тройке сидели князь Шастунов, Макшеев и молодой гвардейский капитан Федор Никитич Ливийский. За ними следовали пароконные подводы с багажом, нижними чинами и курьерами. Василий Лукич, в виде караула, взял с собой десять человек нижних чинов. В числе челяди находился и шастуновский Васька.

При виде такого торжественного выезда у унтера не могло уже явиться ни малейшего сомнения, и, скомандовав «мирно», он пропустил посольство. Весело, словно торжествуя звеня бубенцами, помчались дальше тройки...

– Ах я! – выругался унтер. – Я и не спросил про курьера. Ну да ладно, там, в Черной Грязи, разберут... Эхма, пойдем, Афанасий.

И они вернулась к прерванной беседе и недопитой водке.

Убогий старик крестьянин, пропущенный у Яузских ворот, легким шагом скорохода подошел к селу Черкизову и прямо отправился на постоялый двор. Он сбросил с головы закрывавшие ее тряпки, скинул рваный зипун и все это бросил на дороге. На нем оказался тонкий темно – зеленый кафтан, подбитый лисьим мехом, и «сибирская» шапка из волчьей шкуры с наушниками. Он ощупал рукой под кафтаном кинжал и пару пистолетов и смело постучался в ворота.

Раздался лай собак.

– Кто там? – послышался сердитый голос из-за ворот.

– Отворяй! – крикнул пришедший. – По государеву делу.

Энергичный голос незнакомца произвел впечатление. Калитка в воротах открылась, и он шагнул на постоялый двор. В глубине двора стояла конюшня, на дворе виднелись возки, принадлежащие так называемым «копеечным» извозчикам, то есть таким, которых нанимали помимо почты, по вольной цене.

Недавний жалкий старик, преобразившийся в молодого, крепкого человека, прошел в тускло освещенную комнату трактира, где, лежа на прилавке, спал целовальник.

Открывший ему калитку дворник, заспанный и недовольный, следовал за ним. Войдя в комнату, молодой человек шумно опустился на скамью и громко крикнул:

– Эй, ты, образина, вставай, что ли!

При звуках его громкого голоса целовальник, он жехо – зяин, пошевелился и поднял голову.

– Чего орешь? – сказал он.

– А я покажу тебе! – грозно крикнул незнакомец, поднимаясь с лавки.

При слабом свете масляной лампы хозяин увидел его сильную фигуру и его костюм, по которому мгновенно прикинул, что это не обычный гость. Он живо вскочил с прилавка.

– Огня и водки, – коротко приказал незнакомец.

С этими словами, видя нерешимость хозяина, он отстегнул от пояса под кафтаном небольшую сумку и, вынув из нее, бросил на стол три новеньких серебряных рубля с изображением покойного императора. Лицо хозяина прояснилось. Он крикнул дворнику, и через минуту на столе появился штоф, рыба и загорелись сальные свечи.

Незнакомец посмотрел в свою сумку. Вынул из нее еще несколько золотых монет и письмо, запечатанное большой красной восковой печатью. Подержав несколько мгновений в руках письмо с написанным на немецком языке адресом, словно удостоверясь в целостности этого письма, он бережно положил его в сумку и, налив стакан водки, обратился к хозяину.

Блеск золотых монет, лежавших на столе, ослеплял хозяина. Жадно, как собака, ждущая подачки, он стоял около стола и смотрел в рот богатому гостю.

– Есть путь на Клин помимо Черной Гязи?

В голове хозяина живо промелькнуло соображение, что его временный постоялец боится дозоров, о которых он уже знал, хотя и не понимал, зачем они выставлены. Пристально глядя на золотые монеты, он ответил, слегка усмехаясь:

– Еще бы, как не быть.

– И лошади есть? – продолжал незнакомец.

– Орлы! – ответил хозяин, причмокнув губами. Незнакомец кинул ему золотой.

– Это пока, – сказал он. – Снаряжай пароконные сани.

Хозяин, поймав на лету монету и низко поклонившись, выбежал на двор. Незнакомец выпил водки, закусил и, облокотившись на стол, задумался. До него донесся стук раскрываемых дверей конюшни, топот лошадей и голоса. После долгой ходьбы по морозу и выпитой водки он, видимо, чувствовал усталость и его одолевала дрема. Через несколько мгновений голова его упала на стол, и он забылся. Внезапно он был разбужен громким стуком в ворота, собачьим лаем и криками во дворе. В одно мгновение незнакомец был на ногах, ощупал за пазухой пистолеты и сумочку, нахлобучил шапку и выскочил на двор. Какой-то человек, в высоких сапогах, в цветном кафтане, перетянутом ремнем, в остроконечной бараньей шапке, с плеткой в руке, стоял посреди двора и неистово кричал на хозяина:

– Я покажу тебе, чертов кум, как это ты не дашь мне лошадей! Не хочешь добром – силком возьму. Не хотел золота – плети попробуешь...

Он замахнулся на хозяина плетью. Хозяин поспешно отскочил...

– Лошади заказанные! – крикнул он.

– Ладно, ладно, – ответил человек с плеткой, – отвори ворота. Посмотрим, кто помешает мне.

– А помешаю тебе я, мил человек, – громко произнес первый незнакомец, вдруг выступая вперед.

Второй на миг опешил, а хозяин ободрился. Первый внушал ему больше доверия, так как уже успел дать ему золотой, а второй только сулил.

– А кто ты такой? – спросил, опомнившись, второй незнакомец.

– А такой, – ответил первый, вынимая пистолет и наводя его на своего собеседника. – А теперь, – грозно прибавил он, – клянусь тебе Богом, что я разобью тебе голову, ежели не будешь слушаться меня.

Второй запустил руку за пазуху и нащупал рукоять охотничьего ножа. Нож – плохая защита от пистолета. Он кинул вокруг себя злобный взгляд попавшего в западню зверя и отрывисто спросил:

– Что ж ты хочешь?

– А вот пойдем в горницу, там и потолкуем, – ответил первый. – Что-то морозно тут. Ну, живей, поворачивайся, – добавил он, – да не вздумай чего. Ей – ей, всажу пулю.

Второй молча повернулся и направился в дом; первый с поднятым пистолетом следовал за ним. Войдя в горницу, первый сел у стола, положив перед собой оба пистолета, и указал второму место на лавке против себя. Хозяин и дворник с любопытством наблюдали эту сцену. Но первый незнакомец властным жестом руки выслал их из комнаты. Когда, они вышли, он обратился к своему пленнику.

– Ну, теперь потолкуем, – произнес он, – а вот и подкрепись.

Не сводя с него глаз, он налил ему стакан водки и подвинул хлеб и рыбу.

– Подкрепись, – повторил он, – зла тебе не желаю, вижу, что ты по чужому приказу делаешь. Эти слова, видимо, успокоили пленника.

– Но, – продолжал первый, – дело первее всего. Тут, брат, как истинный Бог, головы могут решиться. Тут уж сам знаешь, коли что, твоей головы не пожалею.

В его тоне слышалась такая железная решимость, что сердце пленника упало. В чьи руки он попал? Он вздрогнул и глухим голосом тихо сказал:

– Коли ты от князя Долгорукого аль Голицына – стреляй разом. Легче так сразу подохнуть, чем калечиться на дыбе...

Его голос прервался, во рту пересохло. Он с жадностью схватил стакан водки и залпом выпил.

Несколько мгновений первый пристально смотрел на него, но, видя его непритворный ужас, вдруг громко, весело, почти дружелюбно рассмеялся.

– Эге, приятель, – воскликнул он, – так мы идем, кажись, по одной дорожке. А я, признаться сказать, думал, что это ты от Верховного тайного совета. Тут бы тебе и крышка, – он усмехнулся. – Сам знаешь, своя рубашка ближе к телу. Видно, и ты знаешь распоряжение-то их?

Второй кивнул головой.

– Еще бы, – произнес он, – предупрежден был, на что иду. Объявлено в Москве: смертная казнь, кто тайно, без Верховного совета, из Москвы выйдет, а допрежь смертной казни допрос... Брр... – закончил он.

– То-то оно и есть, – отозвался первый. – Значит, у нас с тобой одни вороги. Ну а теперь, добрый молодец, скажи, кто ты такой?

Второй несколько мгновений колебался, но, увидя, что его допросчик нахмурил брови и положил руку на пистолет, и боясь возбудить в нем подозрения, решительно ответил:

– Человек гвардии капитана Петра Спиридоновича Сумарокова, его, фолетор Яков Березовый. Потому, – добавил он, – что я из деревни Березовой, а есть еще фолетор Яков из деревни Озерной.

Первый присвистнул:

– Эге – ге! Так, значит, ты едешь по приказу капитана Сумарокова. Ишь как!

– Он сам едет, – поспешно отозвался Яков. Первый даже привскочил.

– Сам! А кто ж его послал, куда и где он?

Яков, уже совершенно успокоенный за свою жизнь, попросил еще стакан водки, выпил, закусил и ответил:

– Не знаю, кто ты, а только, может, ты знаешь, что Петр Спиридонович состоит при графе Ягужинском?

Незнакомец кивнул головой.

– Так вот, – продолжал Яков, – как граф узнал, что Долгорукий да Голицын едут в Митаву да под смертной казнью запретили выезжать из Москвы, он и послал тайно в Митаву Петра Спиридоновича, а тот прихватил меня. Потому, значит, я ему самый близкий, я – то фолетор, то камердир. Из Москвы-то, – продолжал он, – выехали благополучно. Тройку взяли у Яузских ворот у Ивана – каменщика. Доехали до Черной Гязи, а там сержант строгий, не пускает. Мой и так и сяк, и денег-то давал. Ништо тебе. Заарестовать хотел, насилу выпустил на волю да велел назад в Москву ехать. Повернули мы, значит, по боковой дорожке, проехали верст шесть, Иван и говорит: я, говорит, один-то проберусь до другой заставы, а ты возьми копеечного возчика да в обход. Вот меня и послали сюда, в Черкизово, за лошадьми. Иван поехал, а Петр Спиридоныч тут недалеко притулился в пустом овине, меня поджидаячи.

– Ну, ладно, – усмехаясь, произнес незнакомец. – Так вот что, приятель, лошадей нет. Твой Петр Спиридоныч малость подождет. Допрежь его я поеду. Тесно этак-то вдвоем ехать по одной дорожке. Да и ты здесь часика два посидишь.

Незнакомец крикнул хозяина и дворника, что-то шепнул им, и прежде, чем Яков успел опомниться, он был скручен по рукам и ногам и посажен в темную клеть.

Потом хозяин отправился в задние пристройки и разбудил ямщика, хорошо знавшего обходную тропу мимо Черной Гязи.

Получив еще несколько золотых, хозяин охотно согласился продержать Якова два – три часа в заключении. Яков со своей стороны не очень тужил об этом. После пережитого им ужаса, когда ему показалось, что он попал в руки агентов Верховного тайного совета и что ему угрожает неминуемая смерть, а сперва страшная пытка, все дальнейшее было для него сущими пустяками.

– До свидания, приятель, – насмешливо крикнул ему через дверь незнакомец.

Яков не ответил.

По отъезде незнакомца, просидев минут двадцать в темноте и одумавшись, Яков пришел к убеждению, что все же было бы лучше освободиться. Он стал неистово стучать в дверь. Хозяин живо подошел. Начались переговоры. Очевидно, хозяин с величайшею охотой шел навстречу желаниям своего пленника, дело было только в цене. Яков же деньгами располагал. После долгих торгов хозяин согласился за три золотых, получив их через щель вперед, выпустить Якова и даже дать лошадей.

XIV

Судьба, видимо, покровительствовала смелому незнакомцу. То пешком, то верхом, по замерзшим болотам, лесным тропинкам, в обход заставам и караулам, не зная ни сна, ни отдыха, он двигался вперед, не стесняясь в деньгах, покупая нередко верховых лошадей и бросая их в какой-нибудь деревне и опять покупая свежую лошадь.

Капитану Сумарокову судьба не столь благоприятствовала. Его часто удерживали, не раз хотели арестовать, не раз отправляли назад. Неожиданный случай выручил его за Новгородом. Его догнал курьер польского посла Лефорта, выехавший с реляциями в Варшаву из Москвы 19 января. Они разговорились. В разговоре выяснилось, что у заботливого курьера было два паспорта. Один на имя купца, выданный из Коллегии иностранных дел, за подписью графа Головкина, другой на его собственное имя, выданный Лефортом.

После обильного угощения и некоторой мзды первый паспорт перешел в карман Сумарокова. С этой минуты он вздохнул спокойнее.

Все же, несмотря на многочисленные задержки и на то, что у Черной Гязи его обогнало посольство, он сумел, в свой очередь, обогнать его. Дело в том, что посольство хотя и торопилось, но принуждено было терять много времени на перепряжку лошадей, на кормежку людей. Хотя из Москвы и был дан приказ держать на всех ямских станах наготове лошадей на тридцать подвод, тем не менее не всегда это было возможно. Иногда лошади оказывались измученными и уставшими, иногда их приходилось ждать, а в иные места приказание пришло чуть ли не за час до приезда посольства.

Таким образом, Сумароков налегке обогнал посольство часа на три.

Недалеко от Митавы, среди лесистых холмов, на берегу красивого озера, известного под названием озеро Красавица, расположился скромный двухэтажный, из красного кирпича, домик, громко именуемый родовым замком Густава Левенвольде, младшего брата графа Рейнгольда.

Это был умный, сдержанный, расчетливый дворянин. В свое время он пользовался недолгим фавором у герцогини Курляндской и, уступив умно и с тактом свое место Бирону, сумел остаться приятным гостем и преданным другом Анны и сохранил теснейшую связь с Бироном. Бирон, еще не смея мечтать о том поприще, какое ему открылось впоследствии, жил мелкими интригами при дворе герцогини, враждуя с курляндским дворянством и борясь за свое первенство при убогом дворе неправящей вдовствующей герцогини, вечно нуждавшейся в деньгах. В этих маленьких интригах ему искренно и от души помогал Густав Левенвольде.

Была глубокая ночь, и «замок» Левенвольде был погружен в сон. Но мирный сон его был нарушен гулким стуком молотка о металлический щит у ворот. Этот стук поднял на ноги всю дворовую прислугу. Это было так необычно.

Раскрыв маленькое окно в воротах, привратник громко по – немецки крикнул:

– Кто там?

Он увидел у ворот спешившегося всадника, неистово бьющего молотком в щит.

– Отворите скорее, – ответил приехавший, тот самый незнакомец, который задержал посланного Сумароковым на постоялом дворе в Черкизове. – Скажите господину, что я от его брата – графа, – продолжал он, – что нельзя медлить ни минуты. Откройте скорее ворота, если дорожите службой.

Окошечко захлопнулось, и наступило молчание.

Подождав несколько мгновений, незнакомец снова принялся бешено стучать в ворота. Наконец ворота раскрылись и его впустили. Один из слуг взял его коня. Выбежавший из дома маленький, худощавый, напыщенного вида молодой немчик грубо обратился к приезжему и резко сказал:

– Ты от брата высокородного господина. Если у тебя есть письма – давай, я передам господину... Я его камердинер.

Незнакомец смерил его презрительным взглядом и насмешливо ответил:

– Если ты камердинер, то поди и доложи своему господину, что я должен видеть его самого. А с его лакеями я разговаривать не буду. А если он не хочет меня видеть, то я уеду сейчас. Мне некогда.

И он пренебрежительно повернулся спиной к камердинеру Левенвольде. Тот на минуту опешил и потом, пробормотав какое-то ругательство, гордо повернулся и не торопясь направился к дому.

– Да ты поторапливайся, – крикнул ему вслед незнакомец, – а то, смотри, попадет!

Незнакомец остался на дворе. Немногочисленная дворня с любопытством рассматривала его. Не обращая ни на кого внимания, он расхаживал по двору. По его походке было заметно, что он сильно утомлен. И действительно, в продолжение трех суток этот человек не спал и трех часов среди постоянной тревоги и опасений.

На крыльце появился камердинер.

– Эй, приятель, – крикнул он, – господин ждет тебя!

Спешным шагом незнакомец направился в дом.

Левенвольде, зевая, сидел на постели в своей скромной спальне. Он прикрылся до пояса одеялом. Ворот рубахи был расстегнут, голова всклокочена. Увидя вошедшего в сопровождении камердинера незнакомца, он крикнул недовольным голосом:

– Ну, что еще, разве нельзя было подождать до утра? В чем дело?

Незнакомец покосился на насторожившего уши камердинера и произнес:

– Только наедине, высокородный господин.

– Пошел, Иоганн, – коротко распорядился Левенвольде.

С презрительной и злобной усмешкой Иоганн вышел из комнаты.

На лице Левенвольде появилось тревожное выражение. Это был молодой человек лет под тридцать, не такой красивый, как его брат, но зато с более энергичным и выразительным лицом. В нем не было той женственности и изнеженности, которые отличали его старшего брата, но было больше мужественности и мысли в выражении лица.

– Ну, так в чем дело? – повторил он. – И кто ты такой?

– Я скороход сиятельного графа Рейнгольда, вашего брата, – ответил незнакомец, – по имени Якуб.

– А – а, – произнес Левенвольде, – ты хорошо говоришь по – немецки.

– Мой отец был немец, – ответил Якуб, – а мать крестьянка. Я одинаково хорошо говорю и по – русски.

– Молодец, – отозвался Густав, – теперь говори.

– Вот письмо его сиятельства, – сказал Якуб, вынимая из сумки тяжелый пакет и подавая его Густаву.

– Ладно, – ответил Густав, – но что же случилось?

– Император Петр Второй скончался, – ответил Якуб, – а императрицей провозглашена герцогиня Курляндская.

Пакет упал из рук Густава на медвежью шкуру, лежавшую у постели. Он вскочил в одной рубашке. Якуб бросился поднять пакет.

– Умер, умер! – кричал Густав. – Она императрица! Да что же ты молчал до сих пор? Кто избрал ее? От чего умер император?

Вместо ответа Якуб подал пакет.

Густав дрожащими руками разорвал конверт и, стоя босыми ногами на медвежьей шкуре, с жадностью начал читать при желтом свете одинокой восковой свечи.

– Боже мой! – воскликнул он наконец. – Иоганн, Иоганн! – закричал он.
И когда испуганный его иступленным голосом вбежал Иоганн, Густав приказал:
– Скорей одеваться, лошадей! Я запорю тебя! Как смел ты заставлять ждать этого гонца!
Иоганн испуганно моргал глазами.
– Я говорил тебе, – не утерпел Якуб.

Иоганн заметался. Надо было и одевать Левенвольде, и приказать готовить лошадей. Якуб понял его положение и с разрешения Левенвольде поспешил во двор распорядиться насчет лошадей. Через десять минут тройка уже несла Густава Левенвольде и Якуба в Митаву.

Барин и лакей сидели рядом, и Густав с жадностью расспрашивал Якуба о подробностях его путешествия. Его особенно пугала мысль, что капитан Сумароков придет раньше его, а особенно посольство! Якуб рассказал, как ему удалось задержать Сумарокова. А относительно посольства беспокоиться было нечего. Раньше завтрашнего дня они не могут поспеть. Но Густав все же приказывал немилосердно гнать тройку.

Через час бешеной езды взмыленные кони остановились у ворот дворца. Левенвольде хорошо знали. Приказав Якубу ждать во дворе, он направился к флигелю, где жил со своим семейством Бирон.

Собственно, «дворец» было слишком громкое название. Дом герцогини Курляндской ничем не отличался от дома какого-нибудь богатого бюргера, разве только герцогскими гербами на чугунных воротах.

Левенвольде беспрепятственно пропустили в помещение, занимаемое Бироном.

Камер – юнкер герцогини жил более чем скромно. Все его имущество составляла небольшая мыза, полученная им в наследство от отца, исполнявшего обязанности берейтора у принца Александра (сына скончавшегося в 1688 году курляндского герцога Иакова) и впоследствии переименованного в лесничество.

Мыза давала скудный доход, а иных доходов почти не было, не считая редких подачек герцогини, которая сама вечно нуждалась в деньгах.

Прислуги было немного. Обстановка квартиры оставляла желать лучшего. Войдя в почти пустую приемную, Густав встретил заспанного лакея, лениво зажигавшего свечи, которому и приказал немедленно разбудить господина.

Лакей, хорошо знавший, как и все в доме, Левенвольде, отправился в спальню Бирона. Она отделялась от приемной только небольшой проходной комнаткой. Лакей постучал в дверь спальни. Из спальни послышался визгливый женский голос:

– Боже мой! Кто там?

Почти тотчас мужской, несколько встревоженный голос повторил тот же вопрос, Густав сделал несколько шагов вперед и громко крикнул:

– Эрнст, прости, это я! Нельзя терять ни минуты!

За дверью послышалось движение, тревожный шепот, и на пороге показался Бирон в пестром халате, в туфлях на босу ногу. За ним из двери выглядывала голова его жены Бенигны в ночном чепчике. Ее желтое, старообразное лицо было испуганно. Дверь захлопнулась.

– Густав, что? – встревоженно спросил Бирон, пожимая руку Густаву. – Что все это значит?

– И хорошее и дурное, и победу и поражение, – ответил Густав. – Император умер. Императрицей провозглашена курляндская герцогиня.

Красивое лицо Бирона с резкими чертами вдруг словно окаменело. Большие глаза с маленькими зрачками смотрели на Густава, как мертвые глаза статуи.

Весть была неожиданна. Переход слишком резок. От двора гонимой, убогой герцогини до двора могущественной повелительницы обширной империи. Несколько мгновений длилось молчание.

– На, – начал Густав, – вот прочти это.

И он подал ему письмо брата.

Только легкие судороги на лице Бирона обнаруживали его волнение, когда он читал письмо Рейнгольда.

– К герцогине, к императрице! – хрипло произнес он. В ночном капоте из спальни выскочила Бенигна.

– Боже мой! Боже мой! Что случилось? – испуганно закричала она, не здороваясь с Густавом.

– Император умер. Императрицей провозглашена ее высочество, – коротко ответил ее муж. – Но, Бенигна, – продолжал он, – я прошу тебя не кричать, не делать в доме лишней тревоги.

– О, Боже! – радостно вздохнула Бенигна, складывая молитвенно руки и поднимая к потолку свои тусклые глаза.

– Не радуйся еще, Бенигна, – тихо произнес Эрнст. – Быть может, это сулит нам одно горе. Однако, – обратился он к Густаву, – я сейчас оденусь, и мы пройдем к императрице.

С этими словами он взял за руку Бенигну и увел ее в спальню.

Письмо Рейнгольда, очень обстоятельное и толковое, подробно передавало историю болезни и смерти императора, обстановку, при которой происходило избрание Анны, затем излагались подробно кондиции. Рейнгольд особенно подчеркивал то обстоятельство, что избрание герцогини Курляндской было единогласно, что все видели в ней ближайшую и законнейшую наследницу покойного императора и что избранием своим она обязана отнюдь не верховникам, а всему народу». Под народом в то время разумелось исключительно привилегированное сословие.

«Что же касается кондиций, – писал Рейнгольд, – то они составлены верховниками тайно от всех, и никто о них не знает.

Состоящее из князя Василия Лукича Долгорукого, князя Михаила Михайловича Голицына и генерала Михаила Ивановича Леонтьева посольство верховников в Митаву тоже окружено тайной, так как они боятся, что об их кознях могут предупредить императрицу и она не захочет подписать кондиций». Поминал в письме Рейнгольд и о требовании верховников не брать в Москву ни Бирона и никакого другого иностранца. В заключение Рейнгольд просил передать императрице, чтобы пока она не спорила с верховниками, а только скорее спешила бы в Москву. В Москве, окруженная верными полками и преданными людьми, она легко разрушит все козни верховников и вернет самодержавие.

Сердце Бирона ныло от тоски и обиды. Он вспоминал длинный ряд унижений, через которые он прошел. Он вспоминал насмешливое, презрительное отношение к нему русских высших кругов, когда он шестнадцать лет тому назад явился ко двору супруги цесаревича Алексея Софии – Шарлотты искать места и удачи. Ему было резко и определенно замечено, что сыну конюха не место при дворе супруги русского цесаревича. Вспомнил Бирон и гордый отказ курляндского дворянства признать его дворянином... И жгучей яростью несмытой обиды горело в его душе, никогда не померкая, воспоминание, о полученной им от князя Василия Лукича пощечине. И тот же Василий Лукич, торжествующий и надменный, едет сюда предписывать законы императрице! Но все же она императрица, избранная не князем Василием! Новое опасение охватило Бирона. Императорская корона, наследие Петра Великого, – слишком ценная добыча. Анна – женщина, тщеславная, как женщина. Этот лукавый старый соблазнитель... Блеск короны... Бывшая связь, хотя недолгая... Разве не может Анна пожертвовать им?... Причудливый, изменчивый нрав Анны ему известен... Левенвольде, Долгорукий, он, раньше Бестужев... Сердце женщины!..

Самоуверенность Бирона исчезла. Один каприз женщины – и он погрузится в такое ничтожество, в каком никогда не был. Нищий, гонимый!..

Как в эти минуты ненавидел он и напыщенное курляндское дворянство, не признавшее его, и русских аристократов, считающих его недостойным быть при дворе новой императрицы; какие страшные клятвы давал он себе уничтожить своих врагов, если судьба поможет ему, какие унижения, пытки и смерть готовил он им в своем воображении! Он торопливо одевался. Вместо камердинера ему помогала его жена, безответная, болезненная, но чванливая и спесивая. Бирон женился на ней, чтобы породниться с родовитым дворянством, и Бенигна страшно гордилась, что принадлежала к старинному роду Тротта фон Трейден.

Из соседней комнаты послышался детский плач. Бенигна встрепенулась.

– Это Карл, – сказала она, – я пойду к нему.

И она бросилась в соседнюю комнату. Там спали их дети – шестилетний Петр, трехлетняя Гедвига и двухлетний Карл.

Мгновенная улыбка озарила лицо Бирона. Не там ли его спасение? Не маленький ли Карлуша является залогом его судьбы? Никакое честолюбие, никакая новая привязанность не заставят Анну забыть о своем сыне. Он знал страстную нежность Анны к этому ребенку. Ведь это был ее ребенок, выданный безответной Бенигной за своего...

Прежняя самоуверенность появилась на лице Бирона, когда он вышел через несколько минут к ожидавшему его Густаву Левенвольде.

– Итак, дорогой Густав, – с холодной усмешкой обратился он к Левенвольде, – теперь мы покажем себя. Il faut se pousser au monde!⁹ – добавил он свою любимую фразу.

⁹ Нужно прокладывать себе дорогу в жизни! (фр.).

XV

Императорское величество.

Эти два слова, заключающие в себе предел человеческого могущества и власти, казалось, оглушили Анну. В них словно слышался ей громовой салют сотен орудий, святой звон московских колоколов и восторженные крики бесчисленной толпы.

Когда она, встревоженная неожиданным пробуждением, поспешно вышла в залу, Бирон и Левенвольде опустились на колени. Не успела она спросить, что это значит, как Бирон слегка дрожащим голосом произнес:

– Ваше императорское величество!

При этих словах она вздрогнула и замерла.

– Племянник вашего величества отрок – император преставился. Весь народ единодушно вручает вашему величеству священное наследие вашего, блаженной памяти, отца и великого дяди. Позвольте мне, первому слуге вашего императорского величества, первому принести вам всеподданнейшее поздравление со вступлением на всероссийский престол...

Лицо Анны было блее платка, который она держала в руках. Она сделала шаг вперед, протянула руку и пошатнулась. Но прежде, чем успели подбежать к ней Бирон и Левенвольде, она овладела собой и тяжело опустилась в широкое кресло с высокой спинкой, увенчанной герцогским гербом династии Кетлеров.

Анне в это время было уже тридцать шесть лет. Лучшая пора жизни ее прошла в унижении, в бедности, в зависимости и забвении. Девятнадцать лет провела она в Курляндии, нуждаясь, заискивая, в вечной тревоге за завтрашний день. Даже сердцу своему она не могла отдаваться свободно, без боязни чужого вмешательства. А она была способна на страстные увлечения.

За эти девятнадцать лет худенькая, стройная герцогиня, с нежным, смуглым, слегка рябоватым лицом, с великолепными черными глазами, обратилась в толстеющую, небрежную к своему внешнему виду, неряшливо одетую, грузную женщину. Смуглое, такое нежное лицо утратило румянец молодости, огрубело, потемнело. Заметнее стали рябины. Даже глаза, великолепные черные глаза смотрели хмуро, недоверчиво и старили герцогиню...

Она овладела собой, улыбнулась, лицо порозовело. Она сразу похорошела и помолодела. Ласковой улыбкой подозвала к себе Бирона и Левенвольде.

– Милые друзья, – начала она низким, густым голосом, – благодарю вас. Радостная весть делается вдвое радостнее, когда ее передает друг. Вечная память нашему племяннику, – продолжала она, перекрестившись. – Неисповедимы судьбы Господа. Расскажите же все подробности, какие вам известны.

Густав вынул письмо Рейнгольда.

– Вот, ваше величество, подробное изложение событий. – Он подал Анне письмо.

– Левенвольде, – произнесла взволнованно Анна, прочитав письмо. – Я не забуду этого дня или, вернее, – с улыбкой поправилась она, – этой ночи на двадцать пятое января, – с удариением, медленно добавила она, словно стараясь навсегда запечатлеть в своей памяти эту знаменательную для нее дату. Она протянула руку Густаву. Преклонив колени, он почтительно поцеловал руку новой всероссийской императрице.

– Передайте, Левенвольде, графу Рейнгольду, – продолжала она, – что я не забуду его... Вы, – обратилась она к Бирону, – и Густав всегда будете моими лучшими, ближайшими друзьями. Мы победим наших врагов. Мы победим их, – с уверенностью повторила она. – А теперь протяните друг другу руки в знак дружбы и верности мне.

Бирон и Левенвольде искренно, от чистого сердца, обнялись.

– Ты мой гость сегодня, – сказал Эрнст, – идем.

– Эрнст, вы еще останетесь, – прервала его императрица, – а письмо оставьте мне, – обратилась она к Густаву. – Мы его еще прочтем.

Густав с благоговением поцеловал милостиво протянутую ему руку и с глубоким поклоном, пятась к двери, вышел.

Анна снова внимательно и долго перечитывала письмо. В тревожном ожидании, волнуемый разнородными чувствами, стоял Бирон. Уверенность Анны в победе над врагами, победе, еще ясно не представляемой ею, мало успокаивала его. Больше всего страшило его посольство во главе с Василием Лукичом. Какие меры примет это посольство, чтобы осуществить свои планы? Что они сделают с ним? А они могут сделать все, что хотят... Ссылка, заключение в тюрьме... Почем знать!

Под влиянием этих мыслей его неподвижное лицо потемнело. Он уже забыл о надеждах, родившихся в нем при мысли о маленьком Карлуше. Разве он сам не отрекся бы от сына, жены, любовницы, если бы ему предстоял выбор между ними и властью над великой империей! Анна подняла на него темные глаза.

– Эрнст, – тихо сказала она. – Бог не оставит меня. Жди и надейся. Да, – продолжала она, – что бы ни случилось, они не лишат меня радостей моей жизни. Рейнгольд прав: не Долгорукие и Голицыны избрали меня, а народ... Дай время... Теперь терпи... Но, Эрнст, – со страстным порывом добавила она, – ты не оставишь меня... А я! Могу ли я оставить Карлушу, этого златокудрого ангела!.. Нет, нет!.. Никогда!

Бирон припал к ее ногам.

– Императрица всероссийская! Императрица всероссийская, – тихо произнесла Анна, словно упиваясь самыми звуками величавого титула. – Разве это звук пустой? Разве на этой высоте может кто распоряжаться, кроме меня! Они затеяли страшную игру, и клянусь Богом – горе им! Глас народа, глас Божий, призвал меня на престол отца моего и дяди, и нет судьбы воли моей надо мной, кроме единого Бога.

Взволнованная Анна встала и быстрыми твердыми шагами начала ходить по зале.

– Я покорюсь пока, – говорила она, гневно сдвигая черные брови, – я покорюсь... А там... Успокойся же, Эрнст, жди...

– О, ваше величество, – прошептал Эрнст, – вся жизнь моя вам!..

– Я знаю твою преданность мне, – произнесла Анна. – Верь, что никто не заменит мне тебя.

Она подошла к Бирону, все еще стоявшему на коленях на бархатной подушке у кресла, с которого она встала, и положила ему на голову руку. Он жадно схватил эту руку и прижался к ней горячими, сухими губами. Анна низко склонилась к нему.

Мутный рассвет глядел в незавешенные окна, и бледнели желтые огни восковых свечей.

Несмотря на всю таинственность переговоров, при дворе уже встревожились. Немногочисленные фрейлины герцогини Курляндской с жадным любопытством слушали рассказы своих горничных о позднем посещении Левенвольде.

Горничные узнали об этом от знакомых стражников и конюхов, а маленький паж Ариальд, дальний родственник Бенигны, жены Бирона, любимец всего маленького герцогского двора, ухитрился даже кое-что подслушать. Любимый шут герцогини, горбатый и злой карлик, прозванный Авессаломом за свои длинные и густые волосы, тоже ухитрился подслушать разговор новой императрицы с Бироном и Левенвольде. Дело кончилось тем, что к концу этой тревожной ночи весь двор уже знал о необычайной перемене в судьбе герцогини.

XVI

Все близкие к Анне люди, не зная подробностей ее избрания, переполнились радостных надежд. Молодые фрейлины мечтали о веселой и богатой жизни в Москве и Петербурге и о блестящих партиях с русскими аристократами. Камер – юнкеры мечтали о карьере, смотритель дворца – о новом доходном месте, конюхи – о роскошных конюшнях на сотни лошадей и связанных с этим доходах. Только ближайший человек к герцогине, кому уже кланялись с подобострастием, чуть ли не с благоговением, один был не радостен, а мрачен и задумчив. Дальнейшая судьба его была закрыта зловещими тучами. Он один не мечтал, не радовался, а, полный тревог и опасений, с тоской ждал, чем кончится день?

Он ненадолго вернулся домой, чтобы передать Бенигне, с которой был очень дружен, все события этой ночи. И вскоре вернулся во дворец, где Анна уже переделалась в парадное платье и с нетерпением ждала дальнейших событий.

Вся прислуга, весь двор были уже на ногах в шесть часов утра. Фрейлины герцогини с нетерпением ждали, что их позовут к туалету, но Анна не звала никого. Она совершила свой туалет при помощи только одной своей старой горничной, поверенной всех ее тайн, ее ровесницы, служившей у нее со дня ее свадьбы с покойным герцогом, дочери смотрителя Летнего дворца при Петре I, Анфисы Кругляковой. Это была некрасивая, угрюмая на вид старая дева, беззаветно преданная своей госпоже. Даже сам Бирон относился к ней с симпатией за ее преданность и верность. Одна из немногих, Анфиса была посвящена в тайну рождения Карлуши.

С фамильярностью, свойственной старым слугам, наперсникам господ, она, причисывая Анну, говорила своим угрюмым голосом:

– Ну вот, ты теперь императрица, ваше величество. Слава те, Господи, вернемся на родину из бусурманской страны. А то слова живого не слышишь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.